Л.К

ЭЛЬ-РЕГИСТАН

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ · 1936

ПК
Т240

Эль-Регистан

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
МОЛОКОВА

Инв. № 12811

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1936

инв. 467 пк

БИБЛИОТЕКА
Академии Наук
СССР

ОБ ОТВАГЕ И МОЛОДОСТИ

Об освоении Арктики писалось столько, что мне трудно прибавить что-нибудь новое. Да к тому же, говоря откровенно, писать я не мастер — моя специальность летать, и по возможности летать посевернее. Я люблю безграничные полярные снежные просторы, тайгу, чернеющую под крылом самолета, суровое молчание тундры, таящей в себе какое-то особое величие и красоту, скованные льдами моря, омывающие берега нашей великой и могучей родины. Но, пересекая по воздуху полярные широты, я никогда не забываю, что красота снежных просторов обманчива, что на ледяных полях подстерегают пилота торосы, заструги и трещины, что на яркосинее небо могут набежать тяжелые облака, исчезнет видимость, прикрытая свинцовой завесой тумана, на тросах машины засвистит предательский ветер, закружит миллиарды снежинок — грянет пурга!

Эта постоянная готовность ко всяким неожиданностям подтягивает человека, вырабатывает в нем бдительность, выдержку, спокойствие, хладнокровие — свойства, так необходимые на севере. Я не собираюсь делать здесь какие-либо открытия, а просто хочу поделиться своим опытом с молодежью, которая идет в завоевании полярных широт по тропе, проложенной нами, «стариками». И когда наступит час, я со спокойной совестью передам руль своего самолета комсомольцу, который придет сменить меня на посту пилота-полярника, так как знаю, что смена за моей спиной надежная. Великая партия Ленина—Сталина воспитывает чудесную молодежь, и, глядя на нее, с обидой вспоминаешь свою серую, неприветливую и голодную юность. Хочется начать жизнь сначала, чтобы учиться тому, чему учат сейчас советскую молодежь в светлых, просторных зданиях школ, техникумов и вузов, хочется

сбросить с плеч пару десятков лет, вернуть юность, но не прежнюю, а такую, какая она есть сейчас — полную глубокого содержания и счастливую.

Читатель «Необычайного путешествия» Эль-Регистана, совершившего на борту моего самолета зимой 1935 года перелет Москва — остров Диксон, найдет в этой книге немало любопытных наблюдений над природой и людьми арктических просторов, описаний быта полярников, эпизодов борьбы их с суровой стихией. Мне хотелось бы, чтобы советская молодежь, прочитавшая эту книгу, загорелась еще большей отвагой, еще большей волей и желанием полностью ликвидировать «белые пятна» на карте нашей великой родины, поставить неисчерпаемые богатства арктических пространств на службу грядущему бесклассовому обществу.

Герой Советского союза

В. С. МОЛОКОВ

Москва
Март 1936 г.

ГЛАВА I

Человек, спасший тридцать девять жизней, открывает зимний сезон полетов в страну белых медведей. — Визит матери к сыну. — Любовь шеф-повара Опарина. — Воздушный попутчик Иванов. — Происшествие над Уральским хребтом.

Меня можно поставить втупик вопросом о моем постоянном местожительстве.

Уже много лет я москвич, и много лет уже бываю в Москве урывками. Вся моя жизнь проходит в непрерывном движении.

Я налетал больше пятидесяти тысяч километров по воздушным путям огромного Советского союза как корреспондент, который спешит в точно намеченный срок удовлетворить запросы своих миллионных читателей.

Лечу в Арктику на самолете. Звоню по телефону моим знакомым, имевшим дело с Севером. Заношу в свою записную книжку всякие сведения и справки, углубляясь ночами в изучение истории воздушных путешествий в Арктику.

«...Вестник первого полета в Арктику — почтовый голубь — был убит 17 августа 1897 года. Записка, которую доставил пернатый курьер из ледяного хаоса на материк, была лаконична: «13 июня, 12 часов 30 минут дня, нахожусь на 82° 02 с. ш., 15° 05 в. д. Благополучно следуем на восток, уклоняясь от прямого пути. Все в порядке. Это мой третий голубь. Андрэ».

Таково было сообщение, полученное от инженера Соломона Августа Андрэ, смельчака-навигатора, предпринявшего первый полет на северные широты, закончившийся таинственным исчезновением аэростата, на котором находились Андрэ и его два спутника. Прошло тридцать пять лет, прежде чем на угрюмом острове Белом был найден вмерзший в лед скелет без черепа, обутый в

полярные башмаки и сохранивший в боковом кармане теплой куртки с инициалом «А» трагический дневник первой воздушной катастрофы на полярных широтах.

Многое изменилось с тех пор в Арктике, куда я собираюсь, по примеру Андрэ, совершить путешествие по воздуху. Вместо допотопного аэростата с гайдропом, волочащимся по земле, меня ждет отличный самолет с голубым обтекаемым фюзеляжем, увенчанный мощным советским мотором. Голубя в корзине мне заменит радиостанция в кабине.

Я южанин и не представляю, как может себя чувствовать человек при температуре —50, привыкший к температуре +50. Мне надо быть готовым к встрече с суровой стихией, — я лечу в Арктику на самолете зимой, т. е. в такое время, когда полеты считаются граничащими с безумием.

Это распространенное мнение предстоит опровергнуть летчику В. С. Молокову. Его перелетом Москва — Диксон Страна советов открывает свой большой арктический сезон 1935 года. Именно он должен пробить самую северную воздушную трассу в мире.

Страна со ставосьмидесятимиллионным населением официальным декретом правительства дала звание героя Советского союза всего восьми человекам.

Имя В. С. Молокова сблетело весь цивилизованный мир в 1935 году, когда ледовый комиссар, профессор О. Ю. Шмидт, после гибели судна «Челюскин», водрузил красный флаг на дрейфующей льдине. Казалось, что новая сотня человеческих жизней будет принесена в жертву жестокой полярной стихии в борьбе с которой нашла свою смерть целая плеяда отважных ученых исследователей, смелых командиров судов, штурманов и безвестных, безыменных матросов, искавших северо-восточного прохода из Европы в Азию. И тогда-то к дрейфующей льдине лагеря Шмидта сквозь пургу и туманы пробился скромный рейсовый пилот В. С. Молоков, получивший за границей прозвище «человек, который спас тридцать девять жизней».

На двухместном самолете он вывозил по шесть пассажиров. Запихивая людей в багажные мешки под крыльями самолета, он делал блестящие взлеты и посадки на естественных снежных и ледовых площадках. Ни один

В. С. Молоков перед полетом.

волос не упал с головы подвешенных к крыльям самолета пассажиров!

Он погрузил на свою открытую машину заболевшего воспалением легких профессора Шмидта. У больного была температура 40,1, и, для того чтобы не осложнить простудой течение болезни, Молоков приказал доктору из челюскинского лагеря сесть на грудь больного профессора, прикрыв его своим телом и одеждой, как наседка прикрывает цыплят.

После того как все люди были сняты со льдины, он вновь поднялся в воздух и, опустившись среди острых торосов, вывез из лагеря Шмидта восемь собак, принадлежащих чукчам и ранее заброшенных сюда на самолете. Он спустился с собаками на аэродроме Уэллена, и вскоре не было на тысячу миль в окрестности чукчи, который не знал бы, что слово Молокова — это честное слово настоящего мужчины.

Фамилия героя-пилота Молокова широко известна и за границей. Но мало кто знает о том, что этот человек семнадцать лет назад не умел подписывать своей знаменитой фамилии. Он был еще ребенком, когда мать, бедная крестьянка, привела его пешком из дальнего села Ининского в Москву, чтобы сдать здесь в услужение хозяину коробочной мастерской за один рубль десять копеек в месяц. Восемнадцатилетний юноша — молотобоец и слесарь, он в 1915 году был мобилизован на военную службу в царские войска и, отказавшись чистить сапоги командиру, бегал в наказание босым по снегу до тех пор, пока командиру не надоело это зрелище. За упрямство и непокорность его откомандировали в отряд штрафных моряков, отправив на остров Дегербью сгружать лес, копать землю и строить ангар для самолетов. Здесь он впервые увидел старенький авиационный мотор Сеймпсона, застыв перед ним в восхищении.

Гражданская война не дала штрафному моряку выучиться летать по воздуху. Ему пришлось швырять бомбы руками на земле в наступающие на Самару чехословацкие отряды. Таща на спине пулемет, он едва успел перелезть за борт последнего отступавшего по Волге парохода с красным флагом. Его послали учиться в школу высшего пилотажа, но курсы пройти не удалось: на Ленинград наступали войска белого генерала Юденича, надо было

экстренно собрать самолеты «Ньюпор» и «Соффидж», чтобы не дать белогвардейцам захватить город. На стареньких, продырявленных машинах, дрожа над каждой каплей бензина, бортмехаником он летал над Северной Двиной, сбрасывая бомбы на наступающие белые войска. Отсюда уехал учиться наконец в школу морских летчиков в Севастополь, где и сел за первые книги, выйдя из школы скромным рядовым пилотом.

Я сижу в уютном кабинете в квартире Молокова в Неопалимовском переулке в Москве. Склонившись над картой, мы соединяем прямыми линиями узловые пункты нашего маршрута:

Москва,
Казань,
Свердловск,
Омск,
Новосибирск,
Красноярск...

Здесь кончается наше продвижение на восток. Отсюда, из этого города в центре сибирской тайги, мы круто повернем налево, чтобы «лечь» на свой курс — норд. Взмывшись над рекой Енисеем, мы пойдем все дальше и дальше на север над тайгой, лесотундрой и тундрой, пробиваясь к Карскому морю, известному среди мореплавателей под прозвищем «Ледяного мешка».

Подкаменная Тунгуска,
Туруханск,
Игарка,
Дудинка,
Усть-Порт,
Гольчиха,
Диксон!

Они выглядят обыкновенными населенными пунктами, отмеченными на карте кружочками, но географическая карта ни слова не говорит о том, какие сюрпризы готовят силы стихии нашему самолету, когда мы, покинув село Дудинку, миниатюрную столицу далекого Таймырского полуострова, пересечем 70° северной широты, вступив в суровую область, где зимой никогда не появлялся ни один аэростат, ни один самолет.

Пилот В. С. Молоков неплохо знает северный бассейн реки Енисея и Карского моря, где он провел два года,

разведывая с самолета состояние льдов для проводки караванов судов, выискивая стада моржей и белух для зверобойных экспедиций, вывозя из отдаленнейших факторий пушнину и доставляя на зимовки почту и людей. Усевшись с любимой трубкой на диван, он рассказывает мне о том, как коварна и изменчива погода в это время в тех местах, и, беседуя с ним накануне старта, я стараюсь почерпнуть для себя многое из его опыта борьбы с суровой природой.

— Амундсен говорил, что к холоду невозможно привыкнуть. Правда ли это, Василий Сергеевич?

— Амундсен хорошо знал свое дело. Морозы — главный враг пилота в Арктике, морозы и пурга, которые, с одной стороны, забивают снегом приборы, с другой — лишают возможности видеть, что творится вокруг. Ко всему этому надо прибавить еще и туманы. Мне приходилось испытывать «удовольствие», когда показатель скорости перестает работать, а обледеневший самолет неумолимо тянет к земле, где ждет неизвестность, полная опасностей.

Мне вспоминается такой случай, — задумчиво продолжает Молоков. — Он произошел как раз в тех местах, которые нам предстоит преодолеть на нашем пути на остров Диксон. Я летел над Енисеем. Стоял приличный мороз — термометр на крыле самолета показывал 39,9 ниже нуля. Прошел час-полтора. Мороз крепчал... Тянулись третий и четвертый час непрерывного полета. В начале пятого часа я почувствовал, как мороз, пробившись сквозь двойной мех моих рукавиц, схватил меня за кончики пальцев. Прошло несколько минут, и леденящий кровь холод прокрался глубже. Мне показалось вдруг, что кишки в моем желудке застыли от мороза и трутся друг о друга, шурша, как бумажные ленты. Я впился глазами вниз, ища землю. Обычная история! Под крылом самолета разбушевалась внезапная полярная буря — о посадке не приходилось и мечтать, — в этом снежном бедламе нельзя было разглядеть ничего в двадцати метрах от собственного носа. Я вспомнил напутствие жены, которая, провожая меня из Красноярска в очередной рейс до Игарки, обычно говорила: «Смотри, Вася, держись Енисея, — он тебя всегда выведет, куда бы ты ни залетел». Реку Енисей я потерял через минуту после на-

Перед вылетом из Москвы на Центральном аэродроме В. С. Молоков передает тов. Эль-Регистану карту перелета.

чала пурги, догнавшей меня в пути. Я представил себе свой самолет, который мчится в бушующем хаосе арктической природы с мертвым, обледеневшим пилотом на борту. Эта перспектива мне не улыбнулась, и я прибег к испытанному средству сибиряков и выпил в полете солидную порцию спирта. Спирт, как известно, наиболее крепкий из существующих на земном шаре напитков. Но благодаря холоду у меня было ощущение, что я пью чистую воду: ни крепости, ни алкоголя я не почувствовал...

Звонок в передней врывается в нашу беседу. Василий Сергеевич поднимается, вытряхивая трубку.

Радостное восклицание. Три звонких поцелуя. В кабинет пилота входит, в исполинских валенках деревенской валки, маленькая худенькая старушка. Она одета в скромное шерстяное платье, голова ее повязана большим черным платком, каким обычно повязывались крестьянки центральной России. Живая, говорливая старушка со смеющимися глазами сияла любовью и гордостью за своего широкоплечего, мужественного сына, которому она едва приходилась по плечо.

С нарочитой хлопотливостью Анна Степановна выкладывала из корзины сельские гостинцы — кусок янтарного сливочного масла, сверточек с яйцами, свиное сало и банку клюквенного варенья.

— Зачем ты навезла все это, мать? — бурчал Молоков, пыхтя трубкой. — Ведь завтра я улетаю, и дома никого не остается.

— Знаю, знаю, что улетаешь, читали в газетах, затем и приехала, — перебила Анна Степановна сына, — по поводу этого перелета.

— По поводу перелета? — удивленно вынул трубку изо рта Молоков.

— Да, Васенька, — вздохнула старуха и, поставив корзину в угол, направилась к дивану.

Через несколько минут причина неожиданного визита Анны Степановны Молоковой к сыну выяснилась. На родине пилота, в селе, которое уже год носит имя своего знаменитого земляка, есть колхоз. В этом колхозе состоит старуха Молокова и многие друзья детства пилота. Узнав о том, что правительство поручило их земляку и другу совершить перелет Москва — остров Диксон по опаснейшей, неисследованной трассе, колхозники на об-

щем собрании решили угостить на дорогу своего дорогого земляка стаканчиком чая. Для приглашения пилота в деревню и была командирована в Москву мать Молокова.

Но, приехав на Курский вокзал, Анна Степановна прочла в газете, что до начала перелета остался всего лишь один день. И тогда ее осенила блестящая мысль, которая должна была спасти от провала ответственное поручение колхозного общества. Анна Степановна предложила сыну завтра, вылетев из Москвы, отклониться от своего курса на Казань и повернуть самолет на село Молоково. Она требовала совершить здесь посадку, попить чаю с ней и с друзьями детства — колхозниками. Старушка клялась, что никакой особенной задержки не будет, потому что самовар в ее доме будет клокотать уже паром в ту минуту, когда лыжи самолета прикоснутся к снегу.

Мы не могли не улыбаться, слушая горячую, торопливую речь Анны Степановны. Она крепко держалась за пуговицу на куртке сына, не давая ему возражать.

— Ну пойми же, мать, где же я там сяду? Ведь для самолета аэродром нужен, должна ты с этим считаться!— взмолился Молоков, исчерпав все доводы.

— «Аэродром! Аэродром!» Заладил! — волновалась старуха. — За нашим домом, ты отлично знаешь, есть большое колхозное поле без межей. Там и сядешь... Мы тебе даже дыму напустим для определения ветра, — продолжала старуха, проявляя недюжинные знания в области авиационной службы. — А самовар к тому времени будет готов, и любимую твою чашку я сниму с полки, Васенька.

Василий Сергеевич объяснял, что на такое запорошенное снегом поле садиться опасно, что можно разбить машину при посадке на неисследованной естественной площадке.

— Если б был аэродром, тогда другое дело, — мотивировал Молоков свой категорический отказ.

— Как челюскинцев спасать, так садился без аэродрома, а для родной матери сесть не хочешь!.. — произнесла обиженная старушка.

Через десять минут однако удалось выработать соглашение. В. С. Молоков соглашался, свернув с прямого

курса на восток, залететь в родное село и, сделав над домом матери три прощальных круга, сбросить приветственный вымпел друзьям. Мать, особо оговорив, чтобы круги были низкие, предостерегла однако:

— Не задень только за крышу, Васенька. Я ведь ее железом покрыла...

Мы летим над просторами советской страны.

Третий час как мы в полете. Исполнив свое обещание матери, В. С. Молоков на минутку прилетел в родное село. Оно ожило мгновенно, и, когда, сбросив высоту, самолет плавно замыкал свой первый круг, приветственно затрепетав крыльями над новеньким деревянным домом матери, на железную крышу, как резиновый чортик, выскочил какой-то парень, отчаянно замахав двумя алыми флагами.

...Под нами снежные перелески и деревушки, погруженные в зимнюю дрему. Я слежу по карте за нашим передвижением, отмечая, что пролетели Арзамас. Древний русский город с бесчисленным множеством пустующих церквей украшен праздничными красными флагами. Популярность Молокова велика: здесь знают, что он пролетит над Арзамасом 21 февраля, пойдет без посадки дальше, и оказывают ему знаки внимания.

Я жду Волгу. Она появилась на исходе четвертого часа нашего полета. Открылся вид на Казань. Кремль, несколько напоминающий московский, нахмурившись, вперился в небо старинной Сюенбековской башней, свидетельницей татарского владычества на Руси. Эти угрюмые стены осаждал когда-то Иоанн Грозный.

Персонал Казанского аэропорта взволнован. Еще бы — прилетел Молоков! Он здесь ночует, чтобы утром отправиться в дальнейший путь. Юный метеоролог с лицом вдохновенного музыканта тщательно готовит прогноз погоды на Свердловск. Между Казанью и Свердловском за Янаулом лежит Уральский хребет. Здесь грань между Европой и Азией. Хребет невысок, но о нем идет дурная слава среди летчиков, обслуживающих почтово-пассажирскую воздушную линию Москва — Новосибирск. Внезапные штормы и туманы подстерегают в лесистых ущельях самолеты. Сносную погоду нам дают только до Янаула, а

хребет лежит километрах в ста дальше. Условлено: если проход через Уральские горы открыт, на Янаульском аэродроме нам выложат знак на пролет без посадки. Знака нет — проход закрыт; голубая птица стремительно бежит лыжами по снежной поверхности Янаульского аэродрома. Вслед за ней, почти наступая нам на хвост, с неба к земле устремляется второй самолет. Из пилотской кабины открытой почтовой машины типа «П-5» вылезает коренастый человек в шлеме авиатора, с неимоверно большими рукавицами из мелкого кудрявого барашка, подвешенными за шею на ремешках.

— Василь Сергеевич!

— Алексей Яковлевич!

Два приятеля, высвобождая руки из теплых рукавиц, обмениваются крепким и продолжительным рукопожатием.

— А я тебе вслед жму, жму, — радостно жестикулирует незнакомец.

— А я оглядываюсь и думаю: кто это у меня на хвосте сидит? — широко улыбается Молоков.

— Ну, как?

— Ну как? — спросили они одновременно друг друга и засмеялись.

— Все в порядке.

Я знакомлюсь с нашим воздушным попутчиком, линейным пилотом Дальневосточного управления гражданского воздухофлота Алексеем Яковлевичем Ивановым. Он ровесник В. С. Молокову и летчик того типа, который составляет костяк советской авиации.

Пилот Алексей Яковлевич Иванов в гражданскую войну дрался в воздухе с Махно, Деникиным и Врангелем. Во время советско-польской войны его «Ньюпор» был единственным самолетом с красными звездами на крыльях, дерзко взлетевшим над Варшавой. Вдогонку за ним ринулось четыре истребителя, которые изрешетили «Ньюпор», причинив ему шестьдесят четыре пробоины, но Алексей Яковлевич, шатаясь в воздухе, как пьяный, ушел спланировав в расположение своих.

Перейдя на мирное положение, он в качестве пилота Дерулюфта обслуживал линию Москва — Берлин, где и получил украшающий его грудь почетный знак пятьсот пятидесяти тысяч километров налета без единой аварии.

На Дальнем Востоке Иванов обслуживает почтово-пассажирскую линию Сахалин — Камчатка. В 1934 году он установил два рекорда, перелетев напрямик через Охотское море, которое наводит страх своими тайфунами на самых опытных капитанов кораблей. Он пробыл шесть часов в воздухе над морем, которое не рискнули пересечь даже Пост и Маттерн во время своего известного перелета. Летчик Иванов не имел времени держаться берега, он спешил доставить в Хабаровск из Александровска двух детей, укушенных бешеной собакой и нуждавшихся в экстренной медицинской помощи.

Сейчас, возвращаясь с женой и дочкой из отпуска на место службы, он принял предложение перегнать в Хабаровск новую почтовую машину и, погрузив в Москве семью в купе международного вагона, через три дня вылетел им вслед, обещав дочери перегнать курьерский поезд за Новосибирском и пролететь мимо окна.

Вылетев несколько позже нас из Москвы с заводского аэродрома, он узнал голубой самолет Молокова в воздухе за Казанью и, «сев нам на хвост», опустился на Янаульском аэродроме, чтобы получить сводку о погоде и заодно пожать герою-приятелю руку.

— Ну, как погода? — спросили одновременно Молоков и Иванов у начальника Янаульского аэропорта.

— Трасса закрыта. В горах снежная буря. Полеты запрещены.

●

Повар Василий Александрович Опарин в ослепительно белом халате стоял перед нами, красный, как мак, пышащий аппетитным жаром кухни железнодорожников Пермской дороги. Дюжий повар был явно влюблен, влюблен, как гимназистка. Повара Василия Александровича распирала любовь к летчику Василию Сергеевичу. Величественно шагая по снегу с дымящимися тарелками в вытянутых руках, он лично подавал лучшие блюда ударников пилоту и его экипажу, не подпуская подавальщиц на пушечный выстрел к герою. Подавальщицы сверлили повара ненавидящими глазами.

В. С. Молоков, из-за плохой погоды случайно задержавшийся в глухом башкирском селе, подвергся настоящей осаде. Председательсовета, прервав заседание, привез

нас с аэродрома на санях, запряженных низкорослыми степными лошадьми, в единственное помещение около станции — общежитие паровозно-кондукторских бригад. Каждые три-четыре часа длинные товарные составы выбрасывали сюда смены запорошенных снегом, обмерзших кондукторов и проводников вагонов, покрытых копотью топок машинистов и кочегаров. Они входили в общежитие для отдыха сменных бригад, усталые, измученные бессонницей своих дежурств, и, узнав о том, какого гостя занесла им сюда непогода, забывали об отдыхе, о теплом душе, об ожидающих их кроватях с чистым постельным бельем.

Машинисты, кондуктора и кочегары шпалерами выстраивались в коридорах, часами ожидая, пока случайно выйдет гость, чтобы приветствовать советского пилота В. С. Молокова.

— Почтение Василь Сергеичу!

Когда пилот, чистенько побрившись, направился к выходным дверям, чтобы ехать на торжественное заседание, в сени выскочил старик — путевой сторож — и произнес с укоризной, обращаясь к гостю:

— Больно быстро ходишь, Василь Сергеич. Сынок мой, мальчонка, давно дежурит в коридоре, чтобы самолично рассмотреть нашего воздушного авиятора Молокова. Он у меня отчаянно интересуется аэропланными делами...

Торжественное заседание происходило в дощатом сарае, освещенном тремя керосиновыми лампами. Доски трещали под напором тел. Бесхитростный оратор сказал:

— Сердце закипело от восхищения у нас однако, когда мы узнали, что опять ты собираешься летать над арктическими Диксонами, товарищ Молоков. Очень приятно, летай! Арктика в хозяйстве нам пригодится.

Два дня мы прожили, дожидаясь, пока не утихомирятся метели в этом селе, не отмеченном на географических картах СССР.

Башкирские колхозники приезжали из сел, затерянных среди снежных сугробов, чтобы пощупать руками добротность крыльев самолета.

На товарищеской беседе, устроенной пилотом по просьбе рабочих железнодорожников, а также в мимолетных встречах и случайных разговорах село выспра-

БИБЛИОТЕКА

шивало гостя, какие у него соображения насчет запасов тунгусского угля, качества енисейской древесины, богатств норильских месторождений платины, палладия, никеля, кобальта. Село интересовалось, достаточно ли глубок и просторен для захода морских кораблей Игарский порт. Село выясняло, какого мнения о моторе самолета едущий с пилотом уважаемый бортмеханик Григорий Трофимович Побежимов, не нужно ли ему какой, может, заклепки на случай чего в дальней дороге.

Местный следователь Андреев нанес нам неожиданный визит, десять раз извиняясь за беспокойство. Он заверил, что не посмел бы нарушить наш отдых, если бы не сынишка, который ему срывает допрос свидетеля по очень важному делу. Сынишка является в служебное помещение во время допроса, нарушая параграфы уголовного процессуального кодекса, и требует, чтобы отец указал ему, где находится тот самый остров Диксон, который он никак не разыщет на своем глобусе. Поиски затерявшегося острова не давали результатов. Следователь просил нашей помощи... Через пятнадцать минут после ухода отца явился сын. Он был от горшка два вершка и сжимал в руке глобус размером с гусиное яйцо, на котором не только Диксон, но и весь азиатский материк нужно было рассматривать под увеличительным стеклом.

Затем пришла с аэродрома целая делегация башкирских детей — пионеров и учеников сельской школы. Они принесли зачитанную до дыр брошюру о челюскинцах с напечатанными на ней портретами летчиков-героев Советского союза. Они требовали объяснить, почему у живого Молокова нет бороды, напечатанной в книжке, и если это опечатка, почему не дают до сих пор опровержения?

Говоря между нами, они пришли проверить, настоящий ли Молоков залетел в село или с неба упала подделка.

Домохозяйки, жены пристанционных рабочих, решив, что герой заскучает в Янауле без культурного развлечения, экстренно сколотили хор. Этот хор под управлением жены слесаря Погорелова на наскоро организованном вечере пропел:

В просторах, где бьются за бортом
Косматые комья пурги,
Дрейфующей льдиной затертый
Отважный «Челюскин» погиб.

И первый за круг заполярный
Повел Ляпидевский мотор,
И Молоков рейсом победным
Расчерчивал снежный простор.

И на следующий день сводка не предвещала ничего хорошего. Метеостанции доносили, что повсеместно над хребтом стоит низкая облачность — сто метров при видимости, не превышающей один километр. Чернушка и Чад сообщали, что высота облаков не более пятидесяти метров, над лесом стелется туман, сигнализируя об опасности обледенения.

— Ну как, пойдем, что ли, Алексей Яковлевич? — спросил Молоков Иванова.

— Я — как ты, Василий Сергеевич, — ответил Иванов Молокову.

Решили итти. (Я заметил, что пилоты никогда не употребляют глагола «лететь», заменяя его «итти», «ходить».)

Мы опять в воздухе. Слева от нас держится как бы подвешенный на ниточку самолет Иванова. Между нами внизу железная дорога. Иванов поднял руку. Машет. Я открываю окно кабины и щелкаю затвором «лейки». Есть!

Через пятьдесят минут после вылета из Янаула мы пересекли первую гряду Уральских гор. Они мне кажутся невысокими после хребтов, окружающих Памир, с их ледниками и вечными снегами, над которыми я совершил несколько полетов. Горы покрыты хвойным лесом, торопливо сбегающим вниз, к пологим ущельям, через которые пробираются стальные нити железной дороги, связывающей европейскую часть СССР с Сибирью и Дальним Востоком. Чем дальше, тем пасмурнее, тем зловещее низкое облачное небо.

Иванов держится метрах в двухстах пятидесяти от нашего самолета, то исчезая, то появляясь в тумане. Я не отрываюсь от окна. Противный сырой туман, клубясь над лесом, ползет нам навстречу, как бы радуясь случаю поймать в западню сразу два самолета. На тросах посвистывает ветер. Погода разыгрывается, оправдывая прогноз юного метеоролога с лицом талантливого музыканта.

Туман сгустился — я не вижу ничего, кроме сырой сероватой массы, которая медленно переползает через крылья, оседая на краях каплями влаги. Капли застывают от холодного ветра пропеллера, который бешено кру-

тится в воздухе, развивая тысячу триста оборотов в минуту.

Видимость пропала. Молоков, осторожно сбрасывая высоту, идет над самой железной дорогой по телеграфным столбам, у смыкающихся с обеих сторон кромок леса. Иванова не видно.

Ветер пронзительно свистит и воет на тросах по-шакальи. Небо надвинулось на самолет, прижимая его к земле. Собирается метель. Я взглянул на часы и на карту. Туман все гуще и гуще; через редкие «окна» просветления мелькают клочки леса; мы летим над самыми макушками леса, и сосны, которые четверть часа назад с высоты ста пятидесяти — двухсот метров мне казались низкорослыми, сейчас выглядят иначе. Ветер крепчает. Самолет бросает вниз, вверх, в стороны. Началась «болтанка».

Резкий порыв ветра, взвывшего у тросов, с силой швырнул самолет вниз. В «окне», открывшемся в тумане, перед самым носом машины мелькнула мохнатая груль хребта, как щетиной, заросшего соснами и елью. Катастрофа неминуема — до горы каких-нибудь сто метров, не больше. Это расстояние наш самолет промчится в одно мгновенье, расплющившись от удара о лесистую грудь хребта, внезапно выросшего перед самым носом машины. Я инстинктивно сжимаю мышцы, чтобы ослабить силу удара.

Гора в окне, к которому я прильнул, резко качнулась и стала на бок, хладнокровный Молоков, блеснув мастерством пилотажа, разворачивает машину у самой горы, и мы летим влево, сгибая макушки сосен бешеной струей воздуха, рассекаемого пропеллером. И в момент, когда, вывернувшись из разворота, мы взмываемся вверх и влево, слева из тумана пулей выскакивает, прямо нам в бок, самолет Иванова. Я не успеваю разинуть рта, как над самыми окнами кабины вздеваются кверху лыжи, становясь прямо перпендикулярно к земле. Иванов, чтобы избежать столкновения, поднял буквально на дыбы свою машину, и, вспомнив, что он ничем не привязан к своей открытой кабине, я вскрикиваю:

— Он выпадет!

— Кто? — удивленно спрашивает мой сосед — радист. Объяснять поздно. Самолет Иванова поглотил туман...

ГЛАВА II

Аэроклуб в сибирской тайге. — Город цепей и кандалов. — Красноярск—тыл Арктики.—Отряд профессора Косованова в поисках спрятанных сокровищ.—Итоги одной беспримерной экспедиции.

Кабина, в которой я совершаю свое воздушное путешествие, тесна, но довольно уютна. Два небольших кожаных дивана друг против друга. Между ними, впиваясь острыми углами в мои колени, висит коротковолновая радиостанция, предмет бесконечных забот и тревог моего соседа, радиста Михаила Флегонтовича Зибрева, сидящего напротив. Со стен свисают трубки вентиляторов, обтянутых металлической чешуей. На полу красный туркменский коврик. Стенки кабины обиты голубым шелком.

Во всей этой отделке кабины чувствуется женская рука: самолет строился в Москве под наблюдением молодой специалистки — авиоконструкторши Евфимии Николаевны Тверицкой.

Я вынимаю бритвенный прибор и, пристроив зеркальце на коленях радиста Зибрева, мылю щеки. Мы минуем границы Уральской области, и мне не хочется влететь в Сибирь невыбритым...

Ночь на 26 февраля мы провели в Омском аэропорте. Образцовая чистота, культурное обслуживание и забота о пассажире, доходящая до мелочей,— вот впечатление, с которым я покидаю Омск. Барабинская степь — громадная плодородная равнина, производящая колоссальное количество зерна,— мирно стелется под нами. Она усеяна бесчисленным множеством озер. Здесь опять притаился в ожидании самолета туман. Но на этот раз Молоков, заметив клочок синевы в белом пологе, вплотную придвинувшемся к пасмурной земле, нырнул в это «око-

шко», и самолет с победным ревом, набрав высоту, радостно устремился навстречу солнцу. Над нами было яркосинее небо, чистое, как топаз. Под нами бесконечные клубы и хлопья белого тумана, закрывшего от нашего взора землю. Положив машину на компасный курс, Молоков уверенно пошел на Новосибирск, краевой центр Западной Сибири. Дорожка была наезженная, знакомая — в прошлом он не раз «топал», по собственному его выражению, по этой большой воздушной дороге.

Прославленная сибирская тайга встречает негостеприимно наш голубой биплан, совершающий последний рейс на восток по большой транссибирской трассе, держа курс из Новосибирска на Красноярск, откуда мы должны круто повернуть на север. Лобовой ветер тщетно пытается затормозить вращательное движение пропеллера, рассекающего холодный воздух. Корпус самолета дрожит еле заметной, легкой дрожью. Шумит тайга, качая серебряными верхушками дремучих лесов, с их звериными тропами, по которым в первые годы российской революции сторожко пробирались бородатые красные партизаны, сжимая в одеревянелых от мороза пальцах самодельные ружья — пищали. Санный обоз, продвигающийся по узенькой белой ленточке дороги, пробитой сквозь леса, кажется каким-то неправдоподобным — словно кто-то впряг из озорства тараканов в спички-оглобли и выстроил их гуськом. Стальные нити железной дороги разбежались у стрелок по запасным путям и тупичкам с запорошенными снегом составами поездов.

Вот и станция Тайга. Тайга в тайге. Мы узнаем этот небольшой сибирский городок, когда, миновав пристанционный поселок, пересекаем по диагонали площадку, с которой смотрят на нас громадные черные буквы, четко выведенные сажей на ослепительно-белом снежном фоне:

«СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ!»

У букв, как ожерелье из мелких бусинок, люди в замкнутой полукругом шеренге. И от каждой бусинки исходит какой-то блеск, как будто кто-то пускает зеркальцем солнечных зайчиков на головы, запрокинутые вверх, к нашему самолету. Это отражение солнца на стеклах авиа-

ционных очков, надетых на пилотских шлемах людей, выстроивших почетный караул герою у приветствия «Счастливый путь!», неподалеку от которого, распластав-шись крыльями по снегу, стоят неподвижные самолеты.

Тайгинский аэроклуб послал экспрессом своих представителей в Новосибирск приветствовать героя советской авиации. Крепко пожимая руку Молокова, делегаты тайгинского аэроклуба передали ему интереснейший документ — отчет о деятельности аэроклуба, организованного летом 1933 года рабочими депо станции Тайга. На средства, собранные путем добровольных отчислений, клуб приобрел три легких самолета и два планера, приступив к постройке ангара. Имея собственные летательные аппараты, аэроклуб организовал самолето-моторный класс для преподавания авиационного дела. Желающих овладеть искусством самолетовождения нашлось немало. Машинисты, слесаря-вагонники, инструментальщики, токаря, электросварщики — члены партии, комсомольцы и беспартийные — после упорной теоретической учебы и летных практических занятий в декабре 1934 года предстали перед судом строгих экзаминаторов.

В результате полуторагодичных усилий восемнадцать человек без отрыва от своих основных занятий получили права пилотов.

В этот же срок клуб проделал огромную работу, подготовив девяносто пять планеристов. Самолеты клуба совершили восемнадцать агитационных полетов, ведя хозяйственно-политическую пропаганду. В цехах и депо Тайги было создано тринадцать кружков по изучению авиомотора и самолета, через которые прошли сотни рабочих. Движение отцов и матерей перекинулось на детей. Двести двадцать пять юных школьников, вооружившись ножницами, пилками, клеем, резиной, приступили к постройке моделей самолетов и планеров. Выявились юные таланты: Захаров, Ржевский, Юсковец, перешагнув через детские модели подражания, выставили фюзеляжные модели собственного изобретения и конструкции. Молва об аэроклубе в Тайге поползла по тайге. И наш самолет, отдавая дань замечательному предприятию, выросшему на почве, окропленной кровью безвестных сибирских партизан, закружил над снежной площадкой, трепеща крыльями в знак привета и восхищения.

Тайга расступилась, убегая по сопкам в хмурую зимнюю даль и обнажая обрывистые берега реки Енисея, называемого туземцами Ионесси — «Большая вода». Эта громадная, пятая по длине в мире, река, имеющая общее протяжение четыре тысячи четыреста семьдесят пять километров, протекая с юга на север, делит Сибирь на две части — Западную и Восточную. Слившись с сестрой своей — могущественной Ангарой — и приняв в свое лоно десятки рек и речушек в тайге, лесотундре и тундре, Енисей катит свои воды к Карскому морю и Северному Ледовитому океану.

Русские промышленники-поморы знали о Енисее еще в XVI веке. Они ходили по великой сибирской реке из древнего города Мангазеи «енисейским волоком», соединявшим реки Тазу и Турухан. Тогда же сведения об Енисее проникли в Западную Европу, и англичане в 1584 году хлопотали перед российским царем о разрешении ходить на судах к устью реки Ендези.

Огромная река скована сейчас толстым слоем льда, и непрестанно дующие здесь ветры сдули с него снег,— лед кажется сверху серовато-зеленым мрамором с прожилками трещин. Молоков, идя на посадку, кружит над протоком, захватывая краем крыла высыпавшие в беспорядке на обрывистый берег реки нелепые, безвкусные строения, в большинстве из дерева, выкрашенного в какой-то грязно-кирпичный цвет, излюбленный цвет дореволюционной казарменной России. Пухлый храм уперся в небо пятью куполами с облезшей от времени и непогод позолотой. Вдали за поворотом реки виднеются мачты пароходов, зимующих на льду под прикрытием берега.

Красноярск... Чем был знаменит этот город и уродливые улицы, облепленные горбатыми домами, с многочисленными клетьми и прославленными русскими печами, в которых в масленицу пеклись блины, а в престольные праздники — жирные пироги с осетриной и налимьей печенкой? Чем, кроме пельменей, десяти православных церквей, деревянной еврейской синагоги и затхлой богадельни для престарелых, был известен этот город купцов-золотопромышленников и тупоумной царской администрации?

Красноярск. Заштатный сибирский город. Город цепей и кандалов. Край, который проклинали целые поколенья лучших людей России.

Через этот город в суровый Туруханский край гнали по сибирским этапам в ссылку заключенных из крепостей Европейской России.

...Красноярск! Последний пункт на транссибирской железнодорожной магистрали. Отсюда мы должны повернуть на север и, оставляя позади затерянные среди снежных сугробов редкие деревеньки, пересечь необъятный холодный край, известный в прошлом под названием Туруханского.

Что можно сказать о том, как жило население этого края? Издававшиеся царским акцизным управлением «Ведомости продажи казенных питей» свидетельствовали сухим языком статистики, что в северные районы Красноярска завозилось столько напитков, что в 1897 году приходилось по пятьдесят пять литров спирта на душу населения, включая грудных детей.

Легковая машина быстро несет меня по улицам былого города цепей и кандалов.

Советский Красноярск, недавно еще районный город, зимой 1934 года стал центром нового края, образованного из районов Западной и Восточной Сибири, включая Хакассию, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Территория нового края так же грандиозна, как и богатства его недр, таящих в себе массы золота, серебра, угля, нефти и разнообразных руд. Энергетические ресурсы реки Енисея колоссальны. Древесина, содержащаяся на площади в сто миллионов гектаров, занятых лесными массивами, исчисляется миллиардами кубометров. Ценнейшая пушнина добывается в тайге, лесотундре крайних северных районов.

Три дня нашего пребывания в Красноярске целиком посвящены подготовке к дальнейшему полету по самому ответственному и трудному участку нашего пути — от Красноярска до острова Диксона. Самолет должен быть максимально разгружен, и это прежде всего касается личных вещей каждого участника перелета. Я жестоко расправляюсь со своим багажом.

На мне лежат заботы о неприкосновенном запасе продовольствия. Его необходимо иметь на борту самолета — мало ли что может случиться с нами в малоисследованных полярных районах, где не легко добраться до человеческого жилья! Копченая колбаса, масло, какао, шоколад, сгущенное молоко, галеты, сахар, разбитые на мелкие пакеты, распределяются в кабине и в багажных ящиках, подвешенных под крыльями нашего самолета, по настоянию Молокова, еще в Москве. Пилот привязался к этим ящикам с тех пор, как перетаскал в них со льдины шестнадцать челюскинцев.

Против стоянки нашего самолета, ожидающего продолжения полета на ледовом аэродроме Енисея, на маленьком островке, расположена авиобаза Главного управления Североморского пути. Светлые, просторные ангары дышат ароматом хвои, которая стройными свежеоструганными брусьями подпирает арочные застекленные потолки, заливая морем света пристанище крылатых аппаратов. Отсюда делают вылазки в арктические дали смельчаки, оснащенные высокой техникой советского авиастроения. Авиобаза обслуживает только что открытую регулярную воздушную зимнюю трассу Красноярск—Дудинка. В Дудинке, Игарке, Туруханске, Подкаменной Тунгуске и других пунктах, откуда зимой пробираются на лошадях, на оленях в Красноярск, по десять-пятнадцать недель сидят, нетерпеливо считая часы и минуты прилета каждого рейсового самолета, люди, возвращающиеся из экспедиций в тундру, на заполярные реки, на побережье арктических морей; самолеты, привозя почту, газеты, забрасывая медикаменты и другие срочные грузы, возвращаются сюда, в свое гнездо, свитое на маленьком острове, который вот уже год носит название «Остров Молокова». С ледового аэродрома на реке Енисее поднимаются ввысь, держа курс на норд, экспедиции по изысканию новых путей, по разведыванию недр, по обследованию лесных массивов, по аэрофотосъемке неисследованных районов, по поискам бродящих в тундре стад диких оленей, наконец по проводке через льды караванов морских судов.

Четыре двухмоторных «Дорнье-Валь», готовясь к весенней морской работе, заканчивают ремонт в авиомастерских острова Молокова; четыре новеньких морских

самолета советской конструкции лежат аккуратно разобранные в больших заводских ящиках, готовые вылететь оттуда, как только стает снег и пройдет по Енисею, громыхая пушечными выстрелами, ледоход. Семь самолетов уже рассекают пропеллерами бодрящий морозный воздух края, который проклинали когда-то целые поколения лучших людей страны. Наш самолет будет восьмым и в то же время первым, так как никто еще не осмелился залетать в такое время года в такие широты.

Нам придется серьезно поспорить со стихией. Пилот Бузаев, вылетев за месяц до нас с намерением добраться до Дудинки, в тысяча двухстах километрах от Красноярска попал в сильную метель. Опустившись на Енисей, он двое суток пережидал погоду. Метель, притаившись, утихла, выманив Бузаева в воздух, и здесь поймала его одномоторный самолет, схожий по типу с нашим.

Бузаев пошел на посадку опять на Енисей, попал на торосы, сломал лыжи, подкос и перебил лонжероны нижней плоскости. Самолет волоком тащили тридцать километров по снегу и льду до села. Сюда с лыжами, подвязанными к фюзеляжу, прилетел к своему коллеге на помощь коммунист-летчик Черевичный на двухмоторном «АНТ-7». Пилот Бузаев и бортмеханик Лаушкин вскрыли плоскость поломанного лонжерона, скрепили листовой сталью, заклеили авиационным полотном — перкалем, разбежались на новых лыжах, поднялись в воздух и, рискуя ежеминутно жизнью, пролетели с подбитым крылом тысячу двести километров обратно, благополучно вернувшись в воздушное гнездо на маленьком острове.

Молодой ленинградский летчик Махоткин, прославившийся на весь необъятный край своей смелостью и искусством самолетовождения, совершил уже к нашему приезду три рейса до Дудинки; он вернулся из третьего рейса с отмороженным носом и, закутав его пушистым шарфом, полетел в четвертый.

Старый и опытный летун, знаток полярных морей и тундры, летчик Алексеев, получив задание пробиться в устье реки Хатанги на мыс Нордвика, сидел где-то между Игаркой и Дудинкой, терпеливо выжидая погоды. И на острове все от мала до велика знали, что Алексеев хладнокровно ходит по комнате, курит папиросу, смотрит на

хмурое, туманное небо через окно и произносит излюбленное изречение:

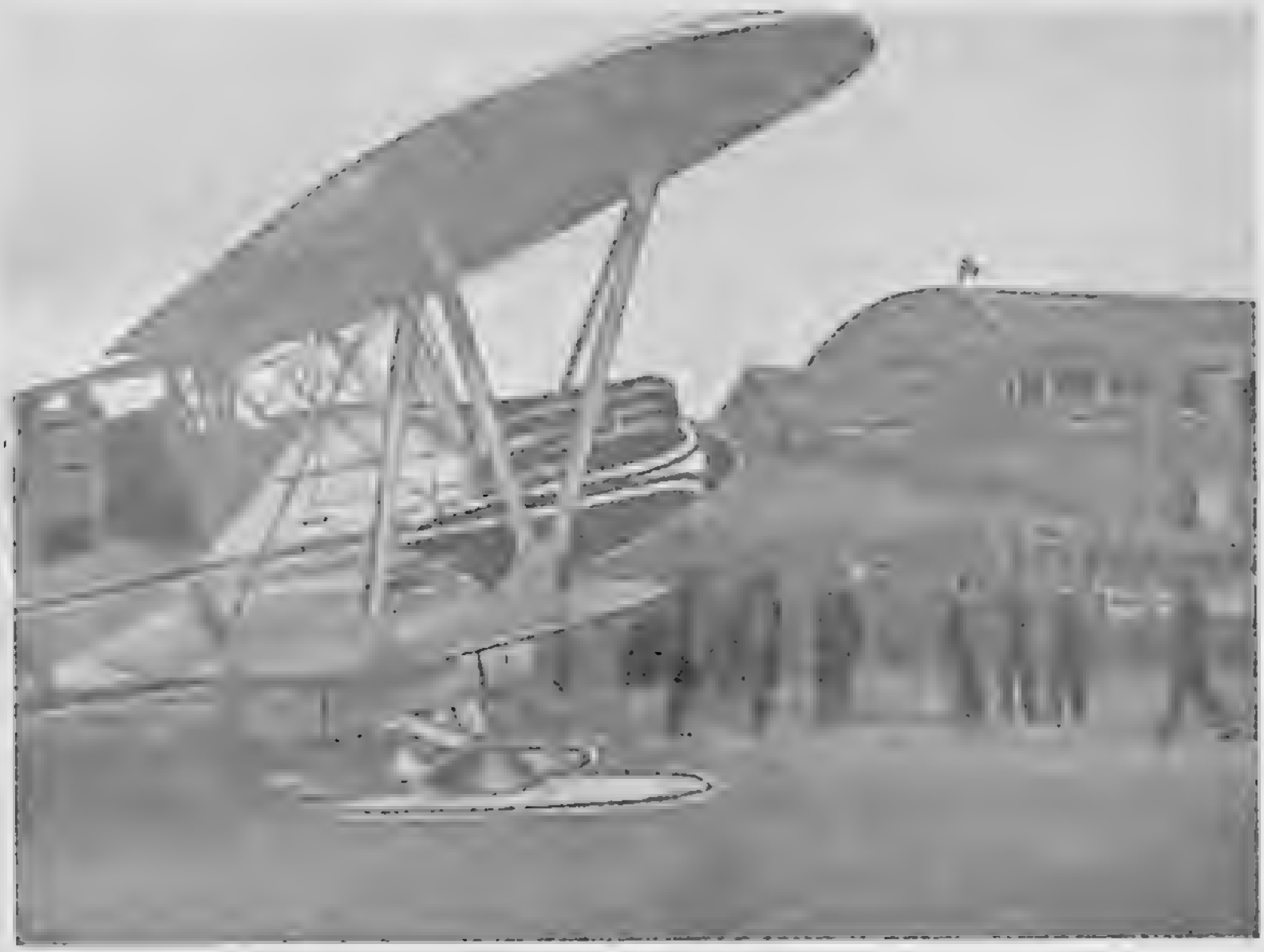
— Лучше быть полчаса трусом, чем всю жизнь мертвецом. Погоды нет — в воздух не пойду.

Он не трус, об этом знает каждый охотник в тайге, каждый туземец в тундре, каждый зимовщик в полярной зимовке. Он культурный пилот, великолепно изучивший особенности арктического климата.

В вечер накануне отлета из Красноярска я познакомился наконец с профессором Косовановым, имя которого неизменно упоминали все те, с кем я беседовал о новом крае и его возможностях. В мою комнату в гостинице вошел худощавый пожилой человек лет пятидесяти пяти с быстрыми движениями и неиссякаемой энергией, светившейся в его широко открытых и по-юношески наивных глазах. Сжимая мою руку, он торопливо стягивал правую галошу с левой ноги, левую с правой, две пуговицы на его пальто были оторваны с мясом, из бокового кармана пиджака торчал конец кашне, — профессор принадлежал, как видно, к числу тех ученых, которые, отличаясь редким педантизмом в лабораториях и поразительной памятью и эрудицией в научных трудах, в жизни ужасно рассеяны и беспомощны. Профессор страшно спешил: в семь пятьдесят — лекция по геологии в техникуме, в девять — сообщение по землеустройству в комиссии крайисполкома, в девять сорок пять — свидание с проезжим гидрографом, в десять тридцать — ждут в редакции, в одиннадцать двадцать он обещал просмотреть одну краеведческую записку... Профессор не знал, как ему быть, — вся его кипучая жизнь была разграфлена и размечена по часам, но по характеру своему он был горячий, увлекающийся человек, и расписания его чуть ли не ежедневно нарушались и, сгрудившись, налезали друг на друга. И он, махнув безнадежно рукой на распорядок дня, пересиживал везде свои сроки и утром иногда с удивлением обнаруживал, что, очевидно, ночью не ложился спать.

Дед В. П. Косованова, замешанный в покушении на Александра II, был присужден к каторге, а затем к пожизненной ссылке в Приенисейский край. Окончив в 1897

году Алтайское горное училище, В. П. Косованов тридцать пять лет своей жизни посвятил изучению бассейна реки Енисея. Едва ли в мире есть еще ученый с большими знаниями в области геологии, географии, экономики, землеустройства, колонизации, истории этих районов. Имеющий тридцать два научных труда в этой области



Провожать Молокова из Красноярска пришло много рабочих, студентов, школьников.

профессор нашел в себе достаточно упорства и знаний для составления четырех томов «Библиографии Приенисейского края» объемом в девяносто печатных листов, содержащих тридцать пять тысяч названий источников (на всех языках мира), из которых можно почерпнуть кой-какие сведения и знания по бассейну реки Енисея и сопредельных областей.

В прошлом году ранней весной, когда совершал свой триумфальный бег Владивосток — Москва экстренный поезд с челюскинцами и Дальний Восток, Восточная и

Западная Сибирь, освещенные огнями бесчисленных ночных костров на опушке вековых лесов, восторженно встречали спасенных из ледяного плена мореплавателей и их спасителей-летчиков, профессор Косованов поехал на красноярский вокзал, осаждаемый тысячным населением города и окрестных сел. Сцены народного энтузиазма потрясли ученого. И беспартийный внук революционера, покушавшегося на жизнь царя-сатрапа, в порыве великодушного стремления сделать подарок свободной стране, воспитавшей таких героев, написал горячую, страстную статью в местную газету «Красноярский рабочий».

В статье этой, озаглавленной «За богатствами для своей родины!», старик-ученый призывал под свои знамена геологов-добровольцев, которые согласились бы под его руководством двинуться в поиски сокровищ, запрятанных природой на кряжах неисследованных хребтов, на берегах малоизвестных рек, в чаще необитаемых лесов. Профессор, объявляя геологический поход имени челюскинцев, не имея ни собственных средств, ни гроша государственной субсидии, горячо призывал местную интеллигенцию, рабочую и колхозную общественность откликнуться на его призыв и организовать отряды следопытов на разведки богатств недр.

Профессор доказывал, что лучший отдых для человека, получившего свой месячный трудовой отпуск, — это, закинув за плечо ружье, шагать с хорошим товарищем по неизведанным местам, вдыхая чудесный воздух и наслаждаясь дарами прекрасной природы края.

Обращение профессора, поддержанное газетой, нашло сердечный отклик в городе и окружающих районах. В местное краеведческое общество стали ежедневно являться десятки служащих из красноярских учреждений, студенты техникумов и вузов, рабочие завода тяжелого машиностроения, паровозоремонтного механического завода, обувной фабрики «Спартак», колхозники Ошаровского и Бобровского колхозов. Число добровольцев ежедневно нарастало. Движение, вылившись из рамок Красноярского района, перебросилось в Сухобузимский, Большемуртинский, Казачинский, Маяский, Уярский, Рыбинский, Тасеевский, Канский, Богучайский и Кеженский районы края. Добровольцы, которыми руководила любовь

к родине и любовь к природе, насчитывались сотнями. В тайгу, на хребты, в долины рек двинулось пятьсот следопытов-энтузиастов. В числе отрядов был манский отряд Дмитриева, составленный из рабочих фарфоровой фабрики, отправившихся искать сырье для своего производства.

В работе семнадцати поисковых партий, подчиненных общему командованию профессора Косованова, приняли участие почти все профессора педагогического и лесотехнического институтов в Красноярске, доценты-геофизики Батуев и Сарапкин, профессор-лесовед Тихомиров, геологи Хомятовский и Федоров и др. С одной из партий ушел добровольцем вместе со своим другом-собакой Николай Васильевич Суриков, знаменитый горный разведчик-краевед, открывший за сорок лет своей деятельности восемьдесят четыре месторождения полезных ископаемых.

Первое известие, напечатанное в газете 24 июля 1934 г., было от него. На правом берегу Енисея, около деревни Донниковой, он обнаружил выходы графита, на левом берегу реки Качи — охру. Вслед за этим посыпались донесения от других поисковых партий. Охотник Трапезников нашел на косах речки Большой Кемчуг рассыпное золото; учитель железнодорожной школы Барков обнаружил на реке Муре месторождения угля и серного колчедана; курсант Орестов, продвигаясь по реке Есауловке, наткнулся на полевой шпат; инженер Соколовский выискал по ручью Холоватому бурый железняк. Манская партия, обследовав на протяжении двухсот пятидесяти километров реку, выявила интересные залегания железных, марганцевых и медных руд, серного колчедана, золота, кварца, охры, шиферного сланца. Здесь же рабочие фарфоровой фабрики нашли искомое сырье — полевой шпат, кварц, каолин—в количестве более чем достаточном для производства. Сорок два процента содержания меди нашел профессор Клячин после исследования в руде, обнаруженной у устья реки Изык; двадцать шесть процентов металлического марганца оказалось в образцах, доставленных из местонахождений у устья реки Берети. Крупное промышленное залегание сульфидных руд обнаружила партия Батуева.

В восемнадцать с половиной миллионов тонн были

определены геологами запасы магнезита, открытые мотыгинской партией Федорова.

Сам профессор Косованов, после того как все партии были снаряжены и отправлены, сбросив с плеч свои пятьдесят пять лет, пошел с колхозником Лопатиным разведывать самый трудный участок Восточно-Саянского хребта. Замерзая и голодая здесь, едва не сгорев ночью в лесном пожаре, он спустился с гор живым, здоровым и таким же энергичным и пылким.

На реке Татарке на ангарскую партию изыскателей, которая искала алюминиевую руду, неожиданно напал медведь. Он бросился на краеведа Николаева и страшным ударом лапы оторвал ему челюсть. Женщина-геолог Щукина, выскочив с ружьем из шалаша, метким выстрелом убила зверя. Она увезла с собою медвежью шкуру на память о беспримерной экспедиции...

ГЛАВА III

Как казаки завоевывали Туруханский край.—Курс на норд.— Село Подкаменная Тунгуска. — Семьсот ломов продолбили лед. — Прогноз бортмеханика Побежимова. — Куда отправились мужчины, надев меховые парки? — Медведь — гувернер маленьких медвежат. — Четвероногие обитатели приенисейских лесов. — Чемпион-охотник комсомолец Кузьмин ушел на три месяца в тайгу. — Соболь зазвенел колокольчиком.

Всю ночь перед вылетом из Красноярска я бодрствовал, разбирая массу записей, справок и сведений, добытых мной в красноярских учреждениях и в громадных неразобранных архивах, хранящих колоссальное количество ценнейших материалов, ожидающих пытливого ока историка-исследователя. Я восстанавливал в своей памяти обрывки разговоров со знатоками края, беседы со старожилами, любителями поговорить с приезжим. Я копался в груде старинных книг и материалов, полученных мной под честное слово до утра 4 марта.

Шли часы. Серый рассвет заглядывал в окна моей комнаты, и вместе с ним передо мной вставали картины далекого прошлого немногих родов и племен, обитающих в широтах, которые мне предстоит посетить, путешествуя по воздуху.

...Завоевание громадного Приенисейского края было начато морем с севера через Мангазею и южным путем по притоку реки Оби — Кеть. Смелые промышленники-поморы еще в XVI веке на легких судах пробирались из Архангельска через Югорский Шар и полуостров Ямал по рекам Мутной и Зеленой в Обскую губу и отсюда в море Мангазейское — Тазовскую губу. Путь этот, по свидетельству неизвестного летописца, был «труден, прискорбен и зело страшен от ветров».

Построив зимовье на реках Пуре и Тазе, промышленники выдавали себя за представителей московского царя, собирая «ясак» — дань — пушниной с туземцев. Весть о пушных богатствах областей, лежащих по Енисею, достигла царя Бориса Годунова. Он отправил сюда в 1598 году из Москвы некоего Федора Дьякова, который с двумя тобольскими целовальниками дошел до Енисея и, собрав с самоедов ясак соболями, благополучно возвратился обратно.

Через два года из Тобольска была снаряжена на Енисей экспедиция князя Мирона Шаховского и Данилы Хрипунова со ста казаками. Князю было поручено заложить на реке Тазе в Самоедской земле город-острог. На пяти плоскодонных судах — «кочах» — экспедиция вышла из Березова на реке Оби, но в пути буря разбила часть судов, и они затонули. Князь Шаховской, продолжая путешествие, вместо Тазы попал в какую-то другую реку; заметив свою ошибку, выгрузился на берег и на отобранных у местных туземцев оленях двинулся дальше сухим путем.

Но вскоре на его отряд напали самоеды, убили тридцать казаков, разграбив обоз с припасами. Князь Шаховской бежал с шестьюдесятью человеками на оленях «с душой да телом».

Спустя год, когда Москва узнала о неудаче первой экспедиции, была организована вторая. Специальным указом князя Василия Масальского-Кольцова и Савлука Пушкина назначили мангазейскими воеводами. Указ предписывал воеводам:

«...А идучи в Мангазею и к Енисею, разведать князю Масальскому про князя Шаховского, где ныне он находится? И острог в Мангазее на Тазовском устье князь Шаховской построили ли? И не было ли на князя Шаховского по дороге от самоедов и остяков приходу какого?..»

Князь Масальский с отрядом в двести казаков, стрельцов и пленных литовцев вышел из Тобольска на девяти кочах, двух больших мореходных лодках и двух дощаниках, имея четыре пищали и одного пушкаря с запасом пороха, ядер, свинца и продовольствия. Отряд поднялся вверх по реке Тазе и у впадения реки Сулей-Яго на пра-

вом берегу Тазы против стойбища юрацкого племени заложил город Мангазею, положив начало владычеству русских над огромными пространствами Енисейского края.

Население вновь завоеванной области составляли независимые роды и племена юраков, самоедов, тунгусов, остяков, управляемых князьками. Хотя и наука до сих пор не определила, откуда перекочевали в тайгу, лесотундру и тундру эти племена, однако не приходится сомневаться, что они были отброшены к северу на берега Енисея и соседних рек более сильными народностями.

Из Мангазеи русские энергично продвигались на восток, подчиняя себе новые области и неизменно облагая племена и роды ясаком. Ясак был трех видов: «податной»— по десять соболей с каждой туземной души, «десятинный» — каждый десятый зверь в пользу казны, и «поминочный» или «поклонный», вносившийся, как гласит налоговый указ, «по доброй воле и усердию приносителя к особе царской». Край был богат соболями и чернобурыми лисами.

Московские цари, давая инструкции мангазейским воеводам, особо подчеркивали:

«В казну мягкую рухлядь[1] собирать с ясачных без оплошностей. Крепко смотреть, чтобы чернобурых лис и дорогих соболей никто не смел продавать, усваивая их одной казне, не присваивать себе шкур, а все сполна отсылать в Москву».

Новая область приносила московским царям огромные доходы. Ученый Котошихин определяет доходы всех царских приказов в 1660 году суммой в миллион триста одиннадцать тысяч рублей, сопоставляя эту цифру с шестьюстами шестьюдесятью тысячами рублей, которые сверх того принесла в том же году сибирская пушная казна.

Едва ли кто-нибудь способен хоть приблизительно подсчитать те доходы, которые в свою пользу выколачивали у покоренных туземцев воеводы и служилые люди — казаки. Они, по определению летописца, «брали, сколько рука выможет». Процветали колоссальные злоупотребления. Вновь назначаемые в Мангазею воеводы

---

[1] Пушнина.

везли с собой из России женщин, мед, пиво, вино, чтобы, соблазняя и спаивая туземцев, обирать их.

Передо мной замечательный документ этого рода. Патриарх Филарет пишет архиепископу Киприану:

«...Духовные потворствуют воеводам, которые краденых в России девиц продают из корысти в замужество и заставляют их при себе венчать».

Я делаю выписку из пожелтевшей грамоты, полученной в 1697 году енисейским воеводой из Москвы:

«...Многие служилые люди себе и женам своим делают портища золотые и серебряные, а иные на собольих и на лисьих черных мехах. И знатно, что те служилые люди от неправого своего нажитку, кражею нашей великой государевой казны или грабежом с иноземцев те богатства наживают».

Служилые люди не останавливались ни перед чем. Они, по свидетельству того же документа эпохи, били туземцев «батогами нещадно насмерть, и в железо ковали, и в колодки сажали», десятками лет держа у себя в цепях «манатов» — заложников, которых кормили гнилой рыбой и падалью. Племена и роды стонали под игом жестоких завоевателей.

В куче материалов, которые я изучаю в эту ночь перед полетом в туземные национальные районы, расположенные по берегам Енисея, я нахожу записанный со слов юрацкого старшины рассказ о том, как была разрушена Мангазея — оплот русского владычества. Ссылаясь на фамильное изустное предание, старшина рассказывает, что около трехсот лет назад его род, не выдержав жестокостей и притеснений московских служилых людей во время очередного сбора ясака, восстав, перебил двадцать пять казаков — сборщиков налога. Узнав о решении воеводы предать казни за убийство казаков весь род, мирные юрацкие кочевья, объединившись, сформировали отряд в три тысячи человек, вооруженный луками, стрелами, копьями, топорами, баграми. В одну из июньских ночей в середине XVII века отряд юраков оцепил город Мангазею. Юраки, ворвавшись в сонный город, в течение нескольких часов истребили поголовно все население, и подожженная со всех сторон ненавистная Мангазея запылала...

Надежда Ивановна, жена Молокова, по традиции, установившейся в семье, всегда провожала мужа в дальние полеты на Север.

Резкий автомобильный сигнал прерывает мои исторические изыскания. Я поднимаю голову. Ржавое, кирпично-красное солнце встает над Енисеем, освещая косыми лучами оживающую улицу. Шофер захлопывает дверцу, выскакивая из автомобиля. Собрав пожитки и оплеснув лицо холодной водой, я сбегаю по лестнице.

Автомобиль мчится по речной набережной, обгоняя колонны школьников, которые спешат к острову, чтобы проводить в далекий, полный неизвестности перелет авиатора, личность которого окружена ореолом романтики. Каждый из этих заразительно хохочущих подростков мечтает в душе быть Молоковым, и каждый из них имеет на это немало шансов. Сколько еще смелых, замечательных экспедиций по воздуху, по воде и по суше будет предпринято, прежде чем закончится освоение двух миллионов квадратных километров территории края, который выращивает из этих подростков будущих членов бесклассового, социалистического общества!

В. С. Молоков приехал на аэродром с женой. Надежда Ивановна Молокова выехала с сыном из Москвы за две недели до нашего отъезда в Красноярск; в семье была традиция провожать Молокова в полет. Молоков чисто выбрит. Его обветренное мужественное лицо дышит приветливым спокойствием. Он неторопливо влезает в свой комбинезон из желтой кожи, подбитой мехом, и, сменяя кепи на авиационный шлем с очками, поднимается в свою кабину.

Щелкают затворы фотоаппаратов. Сердитый рев мотора врывается в напутствие Надежды Ивановны, обращенное к мужу:

— Шарф завяжи туже. В воздухе хол...

Термометр на крыле самолета показывает минус двадцать восемь. Но я не чувствую пока холода. «Главное — ноги, — учили меня, южанина, северяне, — ноги должны быть в тепле». Я надел на ноги шерстяные носки, собачьи чулки, оленьи сапоги и поверх всего меховые боты! Они громадны и неуклюжи, но зато великолепно защищают от холода.

К окошку, соединяющему пилотскую кабинку с нашей, прильнула симпатичнейшая физиономия бортмеханика Г. Т. Побежимова. Он кричит нам громовым голосом, заглушая рев мотора:

— Расселись?!

Побежимов много лет работает в Арктике и великолепно знает все острова Баренцова и Карского морей. Наш общий любимец, он связан с Молоковым тесными узами дружбы. Высокий, стройный, с правильными чертами лица, на котором сияют васильковые глаза, он отличается спокойным и добродушным характером. Начитанный и культурный, он удивляется как ребенок, узнав или услышав что-нибудь такое, о чем раньше не подозревал. Опытом и знанием дела он едва ли уступает командиру нашего воздушного корабля, который не предпринимает ничего, предварительно не выяснив мнения своего бортмеханика-друга. Такой же скромный, как пилот-герой, он во избежание расспросов никогда не носит в петлице ордена, полученного в 1927 году за рискованный полет на остров Врангеля.

— Пошли, Молоков! — кричит он, усаживаясь на свое место рядом с пилотом.

Самолет, дрогнув, отрывает примерзающие лыжи от льда и идет на старт, поворачиваясь носом против ветра. Мотор ревет, как взбесившееся чудовище, захлебываясь в собственной мощи.

Прощай, Красноярск, последний пункт, связанный с миром железнодорожной магистралью!

Со скоростью двести двадцать пять — двести пятьдесят километров в час мы летим над величественной рекой. Могучая сила природы небрежно швырнула белую ленту ее громадного русла в беспредельную таежную ширь. Удивительная тишина в воздухе. Тайга величественно дефилирует перед моим окошечком бесчисленными полчищами вечнозеленых лесов, выстраивая по берегам реки нескончаемые шпалеры сосны и ели, пихты и кедра. Они стоят, вытянувшись, как на параде, подобно ветеранам, поседевшим в суровых боях далеких походов. Миллиардами снежинок блещет под солнцем Енисей, накинув на могучие плечи белоснежный зимний плащ.

Повернувшись к окошечку пилотской кабины, я вижу, как стрелка компаса, притягиваемая земным магнетизмом, клонится к рубрике, помеченной «норд». Но, собственно, компас сейчас излишен. Енисей, четко стелющийся внизу, ведет нас к Карскому морю лучше всякого компаса. Попутный ветер любезно прибавляет нам скорость.

Нет конца тайге! В разных направлениях ее рассекают большие и малые реки и ручьи; сходясь и разбегаясь в стороны, они как бы на минутку забегают в многочисленные неисследованные озера, вкрапленные в массивы девственных лесов. Среди этих больших и малых рек, извилистыми змейками расползшихся по тайге, издали своей ширью и красотой выделяется Ангара, царственная сестра Енисея, окруженная пышной свитой челяди — бесчисленных притоков. За 58° северной широты она соединяется с великой сибирской рекой, также пряча свои воды под толстым покровом льдов, одетых в снежные заструги. Реки и окружающие озера изобилуют рыбой всевозможных пород. Здесь и осетр, и стерлядь, омуль и чир, таймень и максун, нельма и сиг, пелядь и сельдь, ряпушка, тугун и карась, щука, окунь и хариус.

Мы давно уже миновали Енисейск, далекий таежный городок, облюбованный в прошлом купцами — скупщиками пушнины, золотопромышленниками, монахами и полицейскими. Его дореволюционное прошлое достаточно характеризуется короткой справкой, которую я внес в свою записную книжку ночью, копаясь в груде архивных материалов. Вот она, эта скупая справка XVII века.

«Из Москвы было предложено Енисейской провинции выбрать депутата в комиссию по составлению проекта нового уложения. Избранный представителем от города Енисейска Степан Самойлов предложил своим избирателям включить в наказ требование об устройстве в городе Енисейске школы, аптеки и о посылке лекаря, на что енисейцы не дали согласия, считая это излишней роскошью, но зато выразили пожелание, чтобы им была передана монополия на торговлю в уезде».

Если бы огласить сейчас этот документ на общем собрании граждан советского Енисейска, он был бы встречен дружным хохотом, не иначе.

Лес убегает вверх по возвышенным берегам реки. Три

с половиной часа мы в полете. На обрывистом яре, у самого впадения реки Подкаменной Тунгуски в Енисей, тесно прижалось друг к другу несколько десятков изб. Мачта радиостанции качнулась, опрокидываясь набок в окне кабины, — самолет, сделав крутой разворот, пошел против ветра на посадку.

Машина бежит по снегу, направляясь к шесту, на котором раздувается полосатая авиационная «колбаса», указывающая направление ветра. С крутого берега скатываются вниз к речному аэродрому люди. Я выскакиваю из кабины и погружаюсь сразу по колени в рыхлый снег. С трудом продвигаюсь, держась за крыло самолета.

Мы в селе Подкаменная Тунгуска. Села по Енисею собственно носят старинное название станков. Станок Подкаменная Тунгуска считается крупным населенным пунктом. Здесь четыреста шестьдесят человек населения, промышляющего охотой и рыболовством. Пятьдесят дней надо затратить, чтобы сейчас, в зимнее время, съездить отсюда в Красноярск и обратно. Едут на лошадях, впряженных в сани, по Енисею до станка Никулина, тайгой до станка Ярцева, потом опять Енисеем до Назимова, два станка — шестьдесят километров лугами, немножко лесом и опять руслом Енисея до Енисейска.

Несмотря на громадное протяжение и суровый зимний климат, санный путь оживлен. То и дело проходят обозы, привозящие из краевого центра товары и продовольствие на станки, окруженные тайгой, вывозя в Красноярск главным образом рыбу. Ловом рыбы славится село Ворогово. Здесь живут потомственные почетные рыбаки, унаследовавшие от прадедов искусство зимнего подледного лова ценных сортов красной рыбы — стерляди и осетра.

С осени осетр и стерлядь облюбовывают себе места притоков теплых ключевых вод и забираются в ямы глубиной пятнадцать-двадцать метров. Места эти хорошо известны старикам-бригадирам рыболовно-охотничьих колхозов. В Ворогово из окрестных станков съезжается до семисот саней с ловцами-промышленниками Вороговского, Зотинского и Тайковского колхозов. Лошади, нетерпеливо перебирая ногами, наполняют морозный воздух стуком копыт и ржанием; промышленники, перекликаясь хриплыми голосами, выгружают на лед Енисея снасти и

припасы. Каждый из ловцов вооружен пешней—подобием железного лома, насаженного на палку. С шумом и говором они долбят пешнями лед, чтобы сделать проруби для самоловов. Гул от долбежки, пробиваясь сквозь толщу льда, проникает в воду. Осетр, сбрасывая дрему, начинает прислушиваться к шуму, тревожно шевеля жабрами и плавниками. В проруби ловцы опускают самоловы: на длинной веревке насажено двадцать крючков и четыре грузила весом по четыреста граммов; к самолову привязывается камень килограммов на восемь-десять. Камень, увлекая самолов на самое дно, не дает течению его снести.

От шума и бултыхания сотен камней, мутящих воду, осетр и стерлядь поднимаются, покидая теплые места — ямы. Когда шум утихает и муть оседает на дно, рыба возвращается в насиженные ямы — зимние жилища — и здесь попадает на предательские крючки. Осетры, вылавливаемые здесь, достигают восьмидесяти килограммов веса, стерлядь — в среднем килограммов двух.

Мы сидим уже давно в теплой и чистой избе, на которой прибита заметенная снегом вывеска:

ГУСМП.
«Авиобаза ст. Подкаменная Тунгуска».

Молоков сбросил комбинезон, и раскрасневшееся лицо его, обветренное от непрерывного пребывания на холодном воздухе, дышит силой, бодростью и здоровьем. Вокруг нас хлопочет начальник авиобазы Сержиков, энергичный, распорядительный работник авиослужбы Главного североморского пути. Его гостеприимная, приветливая жена расставляет на столе тарелки с янтарным осетровым балыком, сливочным маслом, печеньем, наливая в чашки горячий ароматный чай.

Сын Сержикова, четырехлетний голубоглазый бутуз с пухлыми щечками, чрезвычайно взволнован. Он не может дождаться конца чаепития, увивается вокруг меня, настойчиво требуя:

— Дядя, покажи птичку, ну, покажи, дядя, птичку!

Знакомясь с ним, я ему сказал, что у меня в рубашке за пазухой есть птичка, и незаметно пискнул несколько

Летом вскрываются реки, и лед, громоздясь глыбами, плывет по реке Подкаменной Тунгуске в Енисей.

раз, чем привел его в необычайное волнение. Птичка зимой здесь редкая гостья — этим объясняется волнение малыша.

Сбросив тяжелые одежды и обувь, мы лежим и наслаждаемся музыкой.

Вагнер, Глинка, Чайковский в станке Подкаменная Тунгуска, закинутом в центр енисейской тайги, на тысячу километров от ближайшего пункта железной дороги! По радио передают из Москвы концерт. Молоков задумчиво произносит, отрываясь от трубки:

— Если б нам завтра и послезавтра такую же погоду...

Все мы понимаем значение высказанного пожелания. Два таких же солнечных, ясных дня — и мы дойдем до Диксона. Но в это время года никто не может поручиться здесь за погоду.

Бортмеханик Побежимов поднимает голову и безапелляционно заявляет:

— Ночью будет пурга...

Я вглядываюсь в окно, тщетно пытаясь угадать, какие признаки дали ему основание сделать такой прогноз погоды, когда на ясном вечернем небе нет ни облачка. Я молчу. Полярник-бортмеханик пользуется у меня, южанина, безусловным авторитетом.

Уже ночь. За окном бушует злая сибирская пурга, которую задолго до наступления вечера накликал бортмеханик Побежимов. Ветер, улюлюкая, кидается, как бешеная собака, к окнам избы, в которую я пришел несколько часов назад, чтобы поговорить с председателем местного колхоза Кузьмой Васильевичем Кузьминым. Мне хотелось узнать, чем живет и дышит станок Подкаменная Тунгуска, таежное село, расположенное у 62° северной широты.

Сейчас же после того, как наш самолет опустился на снежный речной аэродром, я обратил внимание на странное явление. В толпе, высыпавшей встречать нежданых воздушных гостей, было двое-трое мужчин, не больше. «Узнать, где мужчины?» стояло в моем блокноте, и я собирался, между прочим, задать Кузьмину этот вопрос. Но Кузьма Васильевич Кузьмин спал.

В опрятной горенке с чисто вымытыми полами, за столом, освещенным керосиновой лампой, сидели две девочки лет по десять-одиннадцать. Одна, которую звали

Лена Жданова, читала, другая — Попова Зина — слушала. Лена читала вслух из учебника географии:

— «...Для ознакомления с местностью важно не только находить стороны горизонта, но определять расстояние от одного места до другого. Зная расстояние, можно рассчитать, хватит ли сил и времени на дорогу...»

Заложив бумажкой следующий раздел: «Отчего происходят день и ночь», девочка охотно дала мне интервью.

Я был поражен. В этом селе, которое любому человеку показалось бы глухой, затерянной на необъятном севере точкой, оказывается, имелись больница, школа с двумя преподавателями, клуб, авиобаза, радиостанция Наркомсвязи, отделение кооператива Интегралсоюза, заготовительная контора Госторга, сельсовет.

— Это село, — сообщили Леночка и Зиночка, снисходительно улыбаясь, — типичное советское село Туруханского края.

Взрослых, вернее мужчин, нет действительно. Они ушли, ведя за собой собачьи нарты, в конце декабря. Вот уже третий месяц они бродят по огромной енисейской тайге, имея за плечом ружье, а на поясе топор, нож и кисет с табаком. В пургу и метель, при сорокаградусных морозах, они проходят на лыжах или пешком, в зависимости от местности, многие сотни километров, спят прямо на снегу, в таежных хребтах и низинах.

— Они промышляют зверя,— сообщили мне девочки, оказавшиеся великолепно осведомленными в том, какой животный мир населяет их родину.

— Начнем с медведя,— важно произнесла Лена Жданова.

— А может, с белочки? — робко вставила Зиночка Попова, мечтательно подперев кулачком щеку.

— Мой папа медвежатник, — продолжала Лена. — Дедушку я не помню, я была совсем маленькая, когда его привезли из тайги на собаках с разодранным плечом. Его ухватил лапой медведь... Все знают — вы можете спросить кого угодно, — что мой дедушка лучше всех в тайге ходил на медведя. Мама мне все подробно рассказывала, когда я была маленькой, но не такой, как тогда, когда привезли раненого дедушку, а больше... Он любил ходить на медведя с ножом и рогатиной, хотя

брал с собой и ружье. У него была собака Чорт. Она дразнила и хватала медведя за ноги сзади, а дедушка с ножом нападал, стараясь не подвернуться под лапу.

Как хорошо изучили эти выросшие в притаежной деревушке девочки характер и повадки зверей, на которых уходят охотиться их отцы и братья!

Они сообщили мне, что обитающий в приенисейской тайге медведь отличается очень крупными размерами. Он любит глухой лес с буреломом, овраги и предгорья. С фырканьем и сопеньем он неторопливо, как хозяин, ходит по своим владениям, вырывая из озорства небольшие елочки. Но стоит только ему почуять опасность, как его движения делаются ловкими и бесшумными. От человека он обыкновенно убегает. Но есть среди медведей такие, которые пробовали человечину. Они называются стервятниками и проявляют яркие наклонности людоедства.

Медведица приносит трех-четырех детенышей, уделяя все свое время и внимание добыче корма и воспитанию своего потомства. Она горячо любит детей, и горе тому, кто посягнет на их жизнь и здоровье.

Дочери охотников горячо уверяли меня, что в каждой медвежьей семье есть специальный гувернер — воспитатель детенышей. Обычно это юный, двухгодовалый, сын медведицы, которого она специально оставляет при себе, когда дети, подрастая, разбредаются по тайге. Этот гувернер, называемый в тайге пестуном, зиму проводит вместе с матерью в берлоге для того, чтобы летом, когда у нее появляется новое потомство, воспитывать своих младших братишек, играть с ними, водить их гулять, охраняя их от опасностей во время отсутствия матери.

— Отец мой сейчас уже, наверное, обложил берлогу, которую он выследил еще с осени. Ее готовила на зимовку медведица с пестуном! — восклицает Лена Жданова.

Кузьма Васильевич Кузьмин, председатель подкаменно-тунгусского охотничьего колхоза «Парижская коммуна», проснувшись, подтвердил правильность информации Леночки Ждановой. Он был потомком целого поколения суровых звероловов-промышленников, переселившихся в этот край в незапамятные времена, и знал законы тайги. На своем охотничьем веку Кузьма Васильевич не раз

Охотничья избушка в дебрях енисейской тайги.

встречался лицом к лицу с хозяином дремучих приенисейских лесов — косолапым Михаилом Ивановичем Топтыгиным.

Несколько лет назад Кузьма Васильевич в сопровождении своего четвероногого друга-собаки бродил по тайге. Кузьма Васильевич «белковал», т. е. охотился на белку. Его собака из породы лаек имела сухое, мускулистое сложение с хорошо опущенными ребрами, крепкими ногами и плотно собранной лапой. На голове ее с острой волчьей мордой настороженно торчали уши. Она была незаменимой в тайге, ходила и на зверей и на птицу, никакая снеговая навись, густота ветвей и шум ветра не могли скрыть от ее слуха волнующих звуков дичи.

Она была первоклассной собакой по белке и гоняла след не только по земле, но и «чухом», по запаху, верхом, макушками самых высоких деревьев.

Кузьма Васильевич вздыхает, вспоминая безвременно погибшего друга. Эх, это была собака! Одна среди тысячи! У нее был влажный нос с широко открытыми ноздрями, чутко впитывавшими в себя многочисленные запахи тайги. Она, давая круги, нащупывала на снегу беличий след, приводивший ее к дереву. Если белка оказывалась на земле, она сейчас же загоняла ее на дерево. И куда бы ни запряталась белка, в какую чащу ветвей она б ни забивалась, лайка находила ее. Она садилась под деревом и, не спуская с белки глаз, облаивала ее мерным и звонким лаем, на который спешил Кузьма Васильевич, щелкая затвором ружья.

Нередко, чувствуя приближение критической минуты, белка бросалась неожиданно с большой высоты на землю. Она летела с макушки дерева, растопырив лапы и распустив пушистый хвост, который ей служил и рулем и парашютом во время полета. Достигнув земли, она пулей мчалась по ней, вскакивая на другое дерево, но лайку Кузьмина невозможно было обмануть этим маневром.

Веселая, энергичная, подвижная и смелая, она была злобной, но злобной с умом и расчетом. В борьбе с опасным зверем она никогда не пускала в ход мертвой хватки, действуя ловкостью, стремительностью и неожиданностью нападения. Она не боялась ходить на медведя и погибла от глупого, нелепого случая.

Белкуя по тайге с лайкой, Кузьма Васильевич наткнулся

неожиданно на медвежью семью, расположившуюся неподалеку от громадной пихты. Прильнув к толстому стволу дерева и подав дрессированной собаке сигнал притаиться, Кузьма Васильевич наблюдал, как резвились три малыша-медвежонка, кувыркаясь через голову и смешно фыркая. Медведицы не было видно. Ее заменял пестун, молодой бурый медведь с белым ошейником на шее, несший обязанности гувернера при младших братьях. Кузьма Васильевич всхлипнул от восхищения, когда гувернер наградил двумя увесистыми оплеухами одного из маленьких неуклюжих братьев за какую-то шалость, недостойную воспитанного медвежонка. Малыш отлетел на добрых три метра к пихте, где притаился Кузьма Васильевич, и собака, не выдержав, бросилась на него со звонким лаем.

Неизвестно откуда появилась громадная бурая медведица. Страшная в своем гневе, она молнией кинулась на собаку, нанеся ей сокрушительный удар по голове огромной лапой с железными когтями. Кузьма Васильевич вскинул ружье к плечу. Но оно как назло было заряжено мелкой дробью! Пока Кузьма Васильевич его перезаряжал, с собакой-другом все было кончено...

...Председатель колхоза был одним из лучших промышленников Подкаменной Тунгуски. В урожайный 1929 год он, уйдя в тайгу на покров, ходил один с собакой сорок восемь дней и вынес из леса семьсот беличьих шкурок. Он сейчас задержался в станке не случайно, готовясь к сдаче добытой колхозом пушнины на заготовительный пункт. Кузьма Васильевич отправил промышлять белку, колонка, горностая, лисицу, россомаху, куницу и медведя в тайгу на три месяца колхозные охотничьи бригады Краснопеева Григория, Плешкова Ивана, Безруких Бориса и Кузьмина Петра, комсомольца, владеющего с давних пор охотничьим переходящим знаменем. Они ушли промышлять зверя в низовую тайгу.

Белку они стреляют из ружья мелкой дробью. Осенью ставили на нее ловушки — «плашки». Плашка — это давящий прибор из двух досок, полуоткрытых, как книга. Она устанавливается на дереве в полутора метрах от земли. Между досками кладется нажива — беличья губка или смазанные жиром рыбьи кишки. Охотники колхоза «Парижская коммуна», изучив вкусы белки, выяснили,

что она любительница тонких запахов. Потому они наживу опрыскивают цветочным одеколоном или втыкают в нее «душок» — белый пахучий цветок, специально выращиваемый в горшках дома. Белка притрагивается к наживе, приводя в действие «носорожку», и доска падает, прихлопывая ее тельце. Если охотник во-время не очистит свои плашки от белок — этим с успехом займется колонок, зверок, обкрадывающий ловушки.

Колонка, горностая, зайца и лису бригады «Парижской коммуны» ловят в лесу капканами. Это железный круг на двух тугих пружинах, с силой захлопывающийся, как только зверь притронется к приманке. Капканы наживляются куском мяса, рыбы или дичи, которая квасится, чтобы зверь издалека учуял дух.

Колхоз, отправляя своих охотников в тайгу, позаботился и об одежде и о припасах. Мукой, маслом, мороженой сырой рыбой, строганиной, спичками, дробью, пулей, порохом и пистонами они вполне обеспечены на все три месяца своих скитаний по тайге. Нарты с припасом, в среднем пять пудов на человека, тянут собаки-лайки, помогающие охотникам выследить зверя. Кроме ножей и топоров, которыми вооружен каждый, бригады захватили пилы. Кузьма Васильевич сам следил за тем, чтобы люди были тепло и удобно одеты. На ногах — пимы из оленьих камсов, на теле — помимо белья и верхней одежды меховые парки — вид длинной рубахи с капюшоном для головы, не пропускающей холод и не стесняющей движений. Некоторые предпочли теплые азямы, крытые сукном.

Бригада Павла Васильевича Краснопеева ушла соболевать в верховую тайгу, в горы, облюбованные драгоценным зверем — соболем. Нет в мире шкурки ценнее соболевой. Пушникам известен случай, когда за одну шкурку заплатили двенадцать тысяч рублей золотом. Одна из крупнейших американских пушных фирм продала за пятьдесят тысяч долларов соболье манто, подбиравшееся в течение нескольких лет из однотипных, редких по красоте шкурок.

В течение нескольких столетий этот четвероногий обитатель тайги подвергается преследованиям человека. Соболь привлекал в далекий и суровый Туруханский край первые отряды казаков-завоевателей и царских

После охоты, возвращаясь в избушку, промышленники свежуют здесь зверя, сушат шкурки, отдыхают и греются.

воевод. Леса в бассейне Енисея и его притоков — Подкаменной и Нижней Тунгуски — всегда считались наиболее густо заселенными соболем. Но ряды драгоценного зверка, выбиваемого на протяжении веков, значительно поредели, и добыча его становится все труднее и труднее.

Наибольшую ценность имеет зимний мех соболя, окрашенный в темнокоричневый-бурый цвет, переходящий иногда в черноту густого тона с шелковистым блеском седины. Сильный и ловкий хищник, житель глухих и молчаливых лесов, всегда бодрствует, — он каждую минуту на-чеку. Движения соболя ловки, грациозны. На снежном насте он оставляет след маленьких царапин от коготков своей лапы с растопыренными пальцами. Он движется, горбясь, круто выгибая свою мягкую пушистую спинку. Испугавшись чего-либо, соболь несется быстро, как птица, громадными двухметровыми прыжками, и только в случае крайней опасности точно обезьяна лезет на дерево, прячась за толстыми сучьями.

Он живет одиночкой и отличается скверным характером. Злобный, всегда готовый броситься в смертельную драку с любым зверком, в зимнюю пору соболь, по нескольку дней голодая, отсиживается от буранов в снежной норе.

В бригаду Павла Васильевича Краснопеева, отправившуюся в верховую тайгу за соболями, колхоз выделил самых опытных звероловов, самых лучших стрелков-следопытов. В нее вошел комсомолец Петр Кузьмин, чемпион приенисейской тайги. Он вместе с Кокмаковым Семеном в течение двух недель взял четырех замечательных соболей. Бригада Павла Васильевича взяла трех соболей.

Донесения о том, как идет охота в бригадах, затерянных в далекой тайге, принес вчера в Подкаменную Тунгуску сборщик Чичерин. Командированный председателем колхоза, Чичерин три недели бродил по тайге, отыскивая лыжные следы охотничьих бригад. Он принимал у них шкурки зверя, читал охотникам у костров свежие газеты и книги и привез письма от родных и колхозные новости. Это входило в обязанности колхозника — сборщика пушнины — Чичерина.

Бригаду Плешкова сборщик так и не нашел. Видно, далеко в тайгу забрались ребята промышлять лису, рос-

сомаху, белку и медведя, добывать соболя. Кто знает, может, сейчас, когда за окном избы, в которой я бесседую с колхозным председателем, беснуется злая енисейская пурга, стоит Иван Андрианович Плешков, не шелохнувшись, у запуска, чутко прислушиваясь, не зазвенит ли колокольчиком соболь, запутавшийся в сети, и сменяет на посту у запуска в пургу Ивана Андриановича Плешкова его брат Николай Андрианович или племянник Иван Николаевич Плешков. А девочки Леночка и Зиночка, юные представительницы племени колхозных охотников, в ту же ночь, сидя за столом, освещенным керосиновой лампой, изучают, отчего происходит день и ночь.

ГЛАВА IV

Племя эвенков. — Современные робинзоны в необитаемых лесах. — Величайший каменноугольный бассейн мира. — Игарка — город Заполярья.

Между притоками Енисея — реками Подкаменной и Нижней Тунгуской — лежат гористые леса и пространства лесотундры, населенные племенем эвенков. Вы напрасно будете искать название этого племени в дореволюционных энциклопедических словарях—оно рождено Октябрьской революцией. До советизации Приенисейского края эвенков, этих коренастых, смуглых людей, великолепно владеющих ружьем и в совершенстве бегающих на лыжах, называли презрительной кличкой: «тунгусы». Среди материалов, прочитанных мной в краевых архивах, есть краткий документ-отчет, характеризующий положение этого племени в недавние дореволюционные годы.

Почтенный этнограф, автор отчета о поездке в районы, которые мы пролетаем, пишет об эвенках:

«Большинство их сидит у запоров речек в ямах или убогих чумах, почти голые и голодные, питаясь только рыбой...»

Громадная территория в девятьсот пятьдесят тысяч квадратных километров, где кочуют девять тысяч семьсот четырнадцать эвенков, доживших до наших дней, была выделена четыре года назад в Эвенкийский национальный округ.

Среди племени, которое в течение нескольких веков истреблялось казацкой пулей, черной оспой, голодом и водкой, сильны еще были традиции родового быта, и князьки, расплачиваясь оленями со своими соплеменниками-избирателями, пользуясь их темнотой и невежеством, проходили в советы. Еще в 1921 году в этом округе

с площадью в 95,6 миллиона гектаров имелась всего лишь одна начальная школа. Она долго пустовала после открытия. Это единственная школа, в которую с трудом вербовали учащихся. Князьки и шаманы пустили слух, что советская власть берет «ясак» детьми, и матери, воя, прижимали к себе детей в страхе, что их заберут в школу.

Много воды утекло за эти годы по рекам Подкаменной и Нижней Тунгуске. Реки эти, вскрываясь несколько раньше Енисея, несли свои воды в могучую сибирскую артерию, и с первым паводком в Эвенкийский национальный округ приплывали пароходы с хлебом, промышленными товарами, орудиями лова рыбы и зверей.

Грандиозные лесные массивы бассейна Енисея, в особенности по рекам Подкаменной и Нижней Тунгуске, имеющим общее протяжение свыше пяти тысяч ста километров, почти не исследованы. В тайге, где никогда не ступала нога человека, есть богатейшие места для охоты, для промысла белки и горностая, лисы и соболя. Сюда, в глухие, неисследованные массивы дремучих лесов, направили свои взоры советские робинзоны, организаторы производственно-охотничьих станций.

Экспедиции землеустроителей проникают в тайгу по реке Подкаменной Тунгуске, производят маршрутные съемки нетронутых массивов, нанося их на карты. По их пятам в лес идут охотоведы. Осматривая намеченные территории, они выслеживают норы зверей, изучают их следы, привычки и поведение, по тысяче признаков определяя, сколько какого зверя и птицы имеется на этих диких участках. Попутно охотоведы выясняют, может ли существовать здесь человек с ружьем и капканом, заброшенный на двести-триста километров от ближайшего жилья охотничьей фактории.

В неисследованной тайге Эвенкийского округа организовано уже несколько производственно-охотничьих станций: Чемдальская, Оскоба, Усть-Камо и Коченята в районе реки Подкаменной Тунгуски, Елагубская, Ража и Суломай в Туруханском районе. На первые четыре охотничьи станции в необитаемую тайгу из Кежемского и

Богучанского района, с Ангары двинулись первые шестьдесят семей робинзонов. Они выехали с лошадьми, коровами и домашним скарбом осваивать новые, богатые зверем и рыбой места, имея государственные долгосрочные кредиты на обзаведение хозяйством, на постройку изб, бань, помещений для скота и пр. Охотники-робинзоны снабжены наиболее совершенными орудиями лова зверя, порохом и свинцом. У них имеется также и сельскохозяйственный инвентарь, чтобы пахать и сеять на новых местах.

Мы летим по правому берегу Енисея, являющемуся западной границей громаднейшего Тунгусского угленосного бассейна. Он по мощности превосходит Кузбасс и Черембасс. Его северная граница уходит к 72° северной широты, южная упирается в предгорья Восточносаянского хребта. На древнепалеозойской постели колоссального Тунгусского бассейна, перекрывая друг друга, лежат непрерывные пласты углей всех известных науке типов, начиная от бурых и кончая антрацитами и графитом.

Залежи угля, исчисляемые многими десятками миллиардов тонн, расположены на реках Подкаменной и Нижней Тунгуске, на Фатьянхе, Курейке, Илимпее, Боганиде, Таймуре, Путиловом пороге и наконец в Норильске, куда по следам казака Сотникова проник неутомимый советский исследователь, инженер-геолог Урванцев. Они лежат здесь могучим топливным резервом, ожидая дня, когда тысячи судов пойдут по Великому североморскому пути, заходя в енисейские порты, превращенные в угольные базы. Остров Диксон получит летом 1935 года первую порцию собственных арктических углей — две тысячи тонн из Норильска.

Колоссальное скопление графитов сосредоточено на правобережье Енисея, близ Туруханска. Графиты обнаружены также и по левому берегу Енисея в системе реки Тазы, куда выходит Тунгусский угленосный бассейн. На Нижней Тунгуске сгрудилась целая серия богатейших месторождений графита. Потребность Советского союза и всего мира на несколько десятков лет в амфорном графите может целиком удовлетворить одно только Курейское месторождение.

На широких лыжах, обтянутых оленьей шкурой, пробираются по енисейской тайге охотники следопыты.

★

Дует порывистый боковой ветер. Температура минус 35. Массивы тайги остались за полярным кругом. Клочки редеющего леса сменяются участками тундры, покрытой кочковатым мхом и изобилующей болотами.

Мы вступили в границы лесотундры, приближаясь к Игарке...

После огромных площадей вековых лесов и мертвого пейзажа снежных равнин лесотундры он кажется большим и оживленным, как Москва, заполярный город Игарка, разметавшийся на высоком берегу протока. Сотни штабелей пиленого леса, аккуратно разложенного в квадраты улиц, похожи сверху на большие современные дома. Дымящиеся трубы заводов необычайно эффектны на фоне окружающего северного пейзажа.

Население города, услышав рев реющего в воздухе самолета, устремилось к снежному аэродрому в порт.

Самолет, пробежав от места приземления не более шестидесяти метров, почему-то остановился. Молоков дал полный газ, мотор взвыл, как зверь, сотрясая фюзеляж, но машина не двигалась с места, не желая приближаться к деревянной будочке аэропорта, к которому торопливо стекалось население Игарки. Бесконечный поток людей сбегал по крутой и длинной лестнице, соединяющей здание морского порта с естественным аэродромом на снежной поверхности протока. Игарка тоже имела основания считать Молокова земляком. Молоков, работавший на трассе Красноярск — Игарка линейным пилотом Главсевморпути, выехал отсюда год назад, в феврале 1934 года. Прошел год, и скромный линейный пилот возвращается в Игарку прославленным на весь мир Молоковым, — ну как не притти, не посмотреть на героя Советского союза, как не пожать руку тому, кто возил по воздуху людей, подвязанных к крыльям!

И в тишине, перекрывая шум мотора, раздается окрик В. С. Молокова:

— Эй, кабина, вылезай!

В его голосе гнев. Я чувствую, что что-то случилось с лыжами нашего самолета, не трогающегося с места, несмотря на усилия пилота; не это ли наполняет гневом сердце добрейшего Молокова, который, как всякий лет-

чик, не питает особых симпатий к земле, вечно подстраивающей всякие каверзы воздухоплавателям?

— Есть вылезай! — откликаюсь я и, выскакивая из кабины, неожиданно погружаюсь в снег чуть ли не по пояс.

Навалившись на крыло, я, вместе с сотоварищами по кабине, раскачиваю самолет, пытаясь его сдвинуть с

Здание порта Игарка.

места, и вдруг... проваливаюсь в воду. Под лыжами машины тоже выступает вода; замерзая, она превращается сначала в кашицу, затем, как цемент, охватывает гладкую поверхность лыж, припаивая ее к поверхности аэродрома. На аэродроме наледь. Неприятный сюрприз нам приготовила полярная Игарка.

Наледь — это специфическое явление реки Енисея, на которой расположены все аэродромы полярной трассы Красноярск — Диксон. Река, как я говорил раньше, покрыта льдом, завалённым в свою очередь массами снега.

Сквозь трещины, образуемые от сжатия льдов, вода прорывается вверх, застревая между нижним, ледяным и верхним, снежным покровом, и образует наледь. Узкие лыжи нашего самолета, великолепно чувствовавшие себя на льду и твердом снежном насте, пробивая рыхлый снежный покров Игарского аэродрома, проваливались в эту воду и немедленно примерзали. Раскачивая самолет и толкая его вперед, мы с большим трудом привели машину к месту, откуда махал нам флажками стартер.

В здании порта нас ждут тепло натопленные комнаты. Вымывшись, побрившись и переодевшись, мы выходим к ожидающим нас саням, чтобы ехать в городской клуб, где собралось население Игарки, чтобы чествовать пилота, прилетевшего из далекой Москвы.

Печать нового, советского стиля лежит на улицах этого залитого электрическим светом города, кажущегося ночью волшебным: заполярный город, погруженный в саженные снега, живет жизнью Москвы в миниатюре, и пульс его бьется ровно и спокойно, несмотря на то, что спиртовой термометр показывает сорок градусов ниже нуля.

В обширных теплицах зреет лук и зеленеют ростки огурцов. Конвейеры трех лесозаводов, оборудованных современными машинами, складывают в бесконечные штабеля десятки тысяч стандартов великолепной древесины. Порт готовится к приему сорока пяти океанских кораблей, которые приведет Карская экспедиция по Великому северноморскому пути из крупнейших портов мира. Это — не считая отечественных, советских судов, которые стайками ринутся к Игарке с юга и с севера, как только льды освободят Енисей из зимнего плена.

В больнице просвечивают рентгеном больных, лечат их гальванизацией, диатермией (две больницы, три амбулатории, двадцать врачей есть уже в юном городе!). Ивана Васильевича Ушканова, управляющего Игарского лесокомбината, волнует вопрос, будет ли иметь его лес такой же успех, как в Англии, и в Южной Америке, куда он вывозится летом 1935 года впервые.

В театре ставят «Егора Булычева», «Чужого ребенка». В плановом отделе горсовета проверяют сметы на постройку новой поликлиники, психиатрической лечебницы, Дома советов, лесохимического завода, фанерной и цел-

люлоидовой фабрик, водопровода, хлебозавода. В секциях совета идут страстные дебаты по вопросам дальнейшего благоустройства города в 1935 году.

Семь школ, техникум и совпартшкола имеются на 67-й параллели за полярным кругом, в Игарке, сейчас. В 1931 году была всего лишь одна.

Было восемь часов утра по местному времени, когда вернулся Григорий Трофимович. Он два часа назад ушел на аэродром готовить машину к вылету из Игарки на Дудинку—Усть-Порт. Под его руководством рабочие аэропорта в машину залили двенадцать ведер кипятка, бидон горючего масла, отогревая ее промерзшее за ночь нутро. Ночью термометр на крыле самолета показывал минус 40, к утру мороз покрепчал.

— Сегодня, товарищи, немножко свежевато, — произнес Григорий Трофимович Побежимов, сбивая ладонью сосульки со своей меховой шапки.

«Немножко свежевато»! В устах нашего бортмеханика — старого полярника — это звучит многообещающе. Я вопросительно взглянул на улыбающегося Молокова, влезающего в свой кожаный комбинезон.

— Сколько, Гриша? — коротко спросил он друга.

— 43,7 с нордиком, — ответил Побежимов, наливая чай в огромную чашку.

«43,7 градуса с легким ветерком! Посмотрим, как они выглядят», думаю я, направляясь к двери с вещами подмышкой. Мы собираемся покинуть гостеприимную Игарку и по крутой лестнице порта спускаемся к аэродрому, где на малом газе квохчет, как клушка, созывающая своих цыплят, наша голубая птица. Я открываю дверцу своей кабины. Молоков пробует мотор на разных оборотах и, чуть-чуть склонив голову набок, вслушивается в работу цилиндров.

На моей обязанности лежит подобрать бензинную воронку с ситом и трубу, через которую грели примусом мотор, и заложить в багажную «бомбу» под левое крыло. «Бомба» закрыта. Все готово. Можно лететь.

Мотор привычно заревел. Провожающие раскачивают машину за крылья, чтобы оторвать лыжи, крепко примерзшие к снегу. Минут пять работает полным ходом мотор, — наконец одна лыжа оторвалась, за ней сейчас же оторвалась вторая, и самолет медленно покатился по снежному аэродрому.

ГЛАВА V

Таймыр — страна «белых пятен». — Великий Хатангский тракт. — В поисках морского хода в глубь полуострова. — Платиновые руды на 69,5° северной широты. — Нефть на Хатанге. — Самолет, вмерзший в залив. — Человек, проползший на коленях по льдам с лодкой на буксире. — Спасение «Дорнье-Валя».

Мы продолжаем наше воздушное путешествие. Жидкий и низкорослый лес растерянно убегает назад, цепляясь за берега тундровых речек. Открывается вид на белую, безжизненную равнину, окутанную дымкой морозного воздуха. Это — мертвые просторы тундры. Мы вступили в Таймырский полуостров.

Норильские горы зябко кутаются в сизые туманы. Через маленькое заднее окошко я вижу профиль В. С. Молокова. Он смелым полетом забросил кучку изыскателей. Прошло всего только три года, а какие плоды принес уже тот полет! Уже открыты в Норильских горах громадные залежи угля, которые в этом году впервые пойдут в топки советских кораблей, плавающих на водах Арктики. Он лежит сотнями миллионов тонн прямо на поверхности — великолепный норильский уголь! Здесь выявлены рудные массивы, содержащие никель, кобальт, палладий и платину.

Тундровые пространства полуострова изрезаны многоводными реками: Хатанга, Пясина, Хета, Таймыр и др. Многие реки Таймыра до сих пор остаются неисследованными. Таковы тысячекилометровые Верхний и Нижний Таймыр и находящееся между ними озеро Таймыр, имеющее в длину триста километров, в ширину шестьдесят. Почти не исследованы также притоки Пясины— Пура и Агапа, притоки Хатанги — Попичай и Новая, притоки Хеты — Боганида, Медвежья и Боярка. «Белые

пятна» здесь занимают территорию, почти равную двум европейским государствам. В эти места не заходят даже туземцы, кочующие вместе со своими оленьими стадами зимой от берега моря Лаптевых в глубь полуострова, летом — к северу и ближе к Арктике, где в тундре нет мошкары, беспокоящей пасущихся на мху оленей. Но эти дикие места только кажутся мертвыми и безжизненными. На самом деле реки и озера кишат рыбой всевозможных пород, в тундре размножаются песцы и дикие олени, в море, омывающем неисследованные берега Таймыра, водится масса белых медведей, тюленей, белух, нерп и моржей.

Изредка в кочевье туземцев и зимовки русских промышленников, на «обжитые» места проникают сведения о богатствах «белых пятен». В 1933 году зимой дикий олень, пробираясь с берегов моря к югу в глубь тундры, на протяжении трехсот километров по реке Пясине двигался по обоим ее берегам непрерывными тысячными стадами. Это шел первобытный зверь, не знающий, что такое человек с ружьем и капканом, зверь — абориген «белых пятен», обитатель неисследованных просторов тундры, погруженной в глубокую зимнюю спячку. Вслед за диким оленем большим ходом с островов, закинутых средь льдов полярных морей, шел на азиатский материк песец с голубой и белой шкуркой, покрывающейся зимой пушистым нежным волосом. Его никто не считал, и ни один из старейших промышленников енисейского Севера даже приблизительно не может сказать, какова плотность населения этого зверя на один, на десять, на сто квадратных километров тундры. Никто из туземцев-охотников не знает, куда в некоторые годы нежданно исчезает вдруг песец, минуя обжитые районы кочевий, где его ожидают настороженные пасти с приманкой, остающейся нетронутой. «Белые пятна» ревниво охраняют тайны своих неисследованных рек и озер, нетронутых недр, секреты грандиозных откочевок зверя, а пурги и метели заметают снегами их следы.

Проблема освоения Таймыра упирается в проблему транспорта.

Основная масса туземного населения округа кочует в пределах Авамской и Хатангской тундры. Товары и продовольствие весь округ до 1933 года получал из Красно-

ярска по Енисею. Грузы, пройдя пароходом две тысячи двадцать километров по Енисею, по Дудинке, отправлялись отсюда дальше на Хатангу оленьим трактом. Тысячекилометровый тракт Дудинка—Хатанга был крестным путем для оленей, бичом для оленьего поголовья Таймыра. Сотни промышленников каждый год отрывались на перевозки грузов, десятки тысяч оленей тянули тяжелые нарты по тракту с истравленными ягельниками, не имевшими достаточного количества кормов. Каждый шестой олень падал здесь костьми.

За 1930, 1931 и 1932 годы при перевозках на тракте погибло 21 780 голов ездовых оленей стоимостью 1 600 тысяч рублей. Нужно было прорубить дорогу в тундру— тундра задыхалась от отсутствия путей, связывающих ее с «Большой землей».

В 1932 году Комсеверпуть организовал экспедицию под руководством Е. И. Иголкина для поисков важных путей в глубь тундры. Экспедиция Иголкина под начальством опытного капитана-гидрографа Ю. М. Петранди, зайдя из Карского моря в Пясинский залив, нанесла на карту фарватер реки Пясины, найдя среди отмелей глубокий морской ход.

В 1933 году Иголкин вновь появился в заливе Пясины во главе судов под общим командованием капитана Метцайк. Впервые в истории человечества караван судов прорвался через бар и, поднявшись вверх по реке на восемьсот километров, доставил грузы в центр Пясинской тундры. Экспедиция установила, что река Пясина судоходна на всем протяжении.

В 1934 году из Красноярска на новую водную магистраль была снаряжена целая флотилия судов под командой лучшего енисейского капитана — В. А. Добровольского. 6 августа флотилия, выйдя из Енисея в Карское море, достигла острова Диксона. В Пясинском заливе, между островом Моржовым и зимовьем Громадского, путь флотилии преграждали льды. Наблюдение за состоянием ледяной перемычки было поручено краснознаменному полярному летчику Алексееву. 12 августа он сигнализировал острову Диксону: льды разряжены!

Рано утром 13 августа Добровольский выслал для выяснения обстановки фарватера Пясинского бара теплоход «Н. Бегичев» и моторно-парусную шхуну «Гыдо-Ямо».

Колхозница-ненка Васса со своим сыном, приехавшая из тундры.

Вслед за тем к устью Пясины пошел «Лесник», а 15 августа тронулась вся флотилия груженых судов. Это была смелая, героическая затея — итти в такой рейс, не имея впереди себя лидера-ледокола. Экспедиция, выгрузив в устье Пясины дома, продукты, одежду, охотничьи припасы и оставив здесь шестьдесят промышленников и пятнадцать плотников, 21 августа пошла дальше вверх по реке.

Первых жителей Пясины, долган, живущих в двух чумах, флотилия встретила в устье реки Тарея. 28 августа флотилия уже выгружала в устье Дудыпты полуторагодичный запас для тундр Таймыра — четыре тысячи триста шестьдесят пять тонн груза, завезенных водой. Цель была достигнута!

Пароход «Лесник» с частью флотилии двинулся дальше по Пясине и, выйдя в реку Черную, доставил сюда четыре дома-склада, метеостанцию и радиостанцию, а также партию зимовщиков и строителей судоремонтной базы. На Черной осталось зимовать ядро будущего пясинского флота — теплоход «Н. Бегичев», моторные лодки «Авам» и «Дудыпта», баржа и паузки. На белом пятне бассейна реки Черной появился еще один форт крепостей, цепью опоясывающих Арктику.

В начале ноября командующий флотилией капитан Добровольский, покрыв свое имя славой, благополучно возвратился с караваном в Красноярск, пройдя по Карскому морю и полярным рекам семь тысяч сто девяносто километров.

Освоение Пясины открыло грандиозные перспективы по эксплоатации норильских угольных и рудных месторождений. По тропинке, протоптанной отважными енисейскими капитанами — водителями водных караванов, эти богатства в недалеком будущем выйдут на широкую дорогу Великого североморского пути, в топки и трюмы океанских судов, совершающих плавание в полярных арктических водах. Но освоение морского хода в Пясину не решает проблемы путей сообщения Авамской и Хатангской тундры, пробивающейся к центрам огромного края по тракту, усеянному трупами ездовых оленей. Решение этой проблемы мог дать только морской ход в реку Хатангу, могучую водную неисследованную магистраль.

В 1934 году в центр Таймырского полуострова для ис-

следования водных путей на громадной территории между Пясиной и Хатангой было брошено несколько экспедиций. Гидрографический отряд, руководимый капитаном Богдановым, двинулся на запад Таймыра к истокам реки Пясины, исследуя реки Рыбную, Норильку и Пясинское озеро. Партия под начальством гидрографа Фреймана пошла на восток Таймыра, изучая реки Тагенору, Волочанку, Хету и отрезок Хатанги от устья Хеты до села Хатангского. Экспедиция под начальством неутомимого капитана Петранди и ленинградского гидрографа Белова обошла Хатангу с тыла, со стороны сурового моря Лаптевых.

Экспедиция Белова прошла героический путь, полный опасностей. В состав экспедиции входили гидрографический, гидрологический, астрономический и магнитологический отряды общим числом в тридцать человек. Снаряжение экспедиции сплавлялось в море на карбазах по реке Лене. Карбазы садились на мели, и люди науки, превращаясь в бурлаков, тащили суда волоком на бечеве многие сотни метров. В устье Лены бушевали штормы.

19 августа 1934 года экспедиция достигла Хатангского залива, попутно выполнив задание по проводке морских судов к Юрунг-Тумуну с грузами для нордвикской нефтяной полярной станции. 24 августа, высадив на левый берег часть людей, экспедиция приступила к исследованию Хатангского залива. Передвигаясь на шлюпках, научные работники проводили промеры глубин, анализы вод, установку астромагнитных пунктов. Штормы заливали шлюпки водой, не раз переворачивая утлые суденышки залива. Отважные исследователи, по горло в ледяной воде, спасали приборы и, промокшие, продрогшие до костей, выбирались на пустынный берег, где невозможно посушить одежду. Гидрографический отряд продвигался в устье Хатанги на шхуне «Лаптев», осторожно пробираясь средь предательских банок и отмелей. Судоходен ли залив? Этот вопрос волновал экспедицию. Промеры глубины давали резкие переходы от пятнадцати метров до трех. У острова Малый Бегичев шхуна, имевшая осадку два метра восемьдесят сантиметров, села на мель и едва не перевернулась.

Экспедиция, достигнув мыса Карга, попала в какой-то заколдованный круг. Пять суток кружилась шхуна на одном месте, стиснутая со всех сторон мелями. Случай

помог найти подходящую глубину, и проходимость этого мыса была немедленно зафиксирована.

В заливе плавала уже шуга, когда экспедиция, блестяще выполнив задания по поискам морского прохода в реку Хатангу, двинулась в обратный путь. От частых посадок на мель шхуна потеряла способность движения задним ходом. Девять суток экспедиция искала прохода через бар Чортова Карга. Сентябрь был на исходе, температура воды быстро приближалась к нулю. Необходимо было снять возможно скорее с островов Малый и Большой Бегичев береговые партии изыскателей, которым угрожала зимовка в безлюдных, суровых местах, оторванных от всего мира.

25 сентября, сняв всех людей с берегов, экспедиция закончила работу по исследованию Хатангского залива. Морской ход в Хатангу был открыт...

❦

Летчика Махоткина мы встретили в воздухе где-то между 68-й и 69-й параллелью. Его двухмоторный «АНТ-7» мчался нам навстречу, распластав неподвижные крылья в воздухе, как орел, учуявший добычу. Махоткин совершал очередной зимний рейс из Красноярска в Дудинку, село, являющееся столицей отдаленного Таймыра. Он вывозил на материк последних членов героической экспедиции гидрографа Белова, пробивших окно из моря Лаптевых в глубь Авамо-Хатангской тундры. Он перетаскивал экспедицию гидрографа из Дудинки в Красноярск по частям, как кошка перетаскивает котят. Из Красноярска в Дудинку таким же способом он перетащил экспедицию по разработке нефтяных богатств Хатанги и бухты Нордвик [1].

Махоткин прилетел на полярную воздушную магистраль летом 1934 года прямым рейсом с берегов Черного моря. Он налетал на ледовых разведках Карского моря тринадцать тысяч километров, изучая капризы изменчивой се-

[1] «Если в Америке в аналогичных Тумусу структурах пород есть нефть, то и на Тумусе она должна быть», высказался геолог Томачев в 1926 году. Ту же уверенность высказали геологи Урванцев и Смирнов, сравнивая породы Тумуса с Эмбой. Предположения советских ученых подтвердились — нефть на Хатанге открыта.

Охотник-юрак бродит по тайге, добывая белку.

верной погоды и особенности арктических воздушных течений, рождающих холодные антициклоны. Он появлялся на побережьи полярных морей, парил над пустынными островами, ходил по воздуху в тундру, летал в залив Гыдо-Ямо с грузом бензина на борту для самолета, затертого льдами в Гыданской губе. Здесь В. Махоткин встретил В. Ивашина, нынешнего своего бортмеханика. Собственно, трудно считать прошлым то, что случилось с Василием Лукичем Ивашиным в 1933 году.

Авиотехник Василий Лукич Ивашин, работающий с 1929 года на полярных широтах, в октябре 1933 года на новом самолете «Дорнье-Валь» вылетел из Ленинграда на енисейский Север. Самолет пилотировал летчик Рябенко. На борту тяжелой морской машины находились второй пилот Жихарев, бортмеханик Орлов и два пассажира — Греков и Моисеевич, работники одного из северных трестов.

На Арктику надвигалась уже зима, погода с каждым днем становилась все хуже и хуже дули холодные ветры, учащались туманы, пасмурные дни.

Я не буду описывать злоключений самолета «Дорнье-Валь» в памятный октябрьский день, предшествовавший вынужденной посадке, с которой все началось. Короче говоря, самолет, заблудившись в тумане, сжег почти весь запас горючего и в районе Мачуй-Сале, неподалеку от домика зимовщика Грудицкого, совершил посадку на воду. Льдины уже плавали по реке, надо было спешить уходить от зимы в надежное пристанище. За отсутствием бензина пришлось заправить баки самолета небольшим количеством обыкновенного керосина, которым поделилась зимовка с экипажем. Самолет взлетел на бензине, в течение пяти минут полета сожрал небольшой остаток этого горючего, после чего Ивашин перевел машину на керосин. И ничего — сильно дымила, но летела машина на керосине!

Экипаж решил пробиваться на зимовку Гыдо-Ямо к Гыданской губе, рассчитывая здесь заправиться бензином. Внезапно налетевшая пурга сбила пилота с намеченного курса, громадная машина растерянно закружилась в снежном вихре. На пятьдесят пятой минуте полета, воспользовавшись улучшением видимости, Ивашин взбежал наверх, посмотрел на баки с горючим и ахнул — кругом

нуль! Оглядел местность: льды. Прошла минута. Моторы уже чихали, готовясь заглохнуть навеки, когда летчик Рябенко, заметив среди льдов лужицу, пошел на посадку.

Дул сильный южный ветер, погоняя низко стелющиеся облака. Очертания берега то появлялись, то исчезали в тумане. О продолжении полета не приходилось и мечтать— в баках не было ни грамма керосина, ни капли бензина. Самолет качался на плавниках в небольшой полынье, окруженной со всех сторон льдами. Экипаж судна, обменявшись мнениями, пришел к убеждению, что посадка совершена в Гыдоямском заливе. Но где, в какой его части — неизвестно. А залив велик, он простирается на добрые сотни километров.

Потянулись томительные дни ожидания. Погода не улучшалась, густые туманы клубились над льдами, ветер тоскливо выл на обледенелых тросах машины. На самолете имелась резиновая шлюпка — клипер-бот. Несколько попыток спустить клипер-бот на воду окончились неудачей: ветер опрокидывал легкую лодку.

На четырнадцатый день сиденья в полынье Ивашин решил все же сделать вылазку на берег. Жихарев, Греков и Ивашин, взяв из скудного остатка продовольствия жесткий пятидневный паек, ружья, топор, веревки и спальные мешки, спустились на клипер-бот. Ивашин сел за весла. Борясь со встречным ветром, он с огромным трудом выгреб к обрывистой кромке льда. Лед был слабый — он провалился под тяжестью тела Ивашина, и бортмеханика с ног до головы окатило холодной водой.

Мокрый, в обледеневшей одежде, Ивашин выкарабкался, раздирая в кровь руки, на край льда, держа в зубах канат, привязанный к носу лодки. Товарищи ему подали весла. Подкладывая под колени весла, чтобы не провалиться в воду, бортмеханик медленно пополз по хрупкому льду. Он полз, как зверь, на четвереньках, подкладывая под колени весла, таща за собой на канате клипер-бот, в котором сидели его товарищи. Он полз шаг за шагом в тумане по льду, обвеваемый жестоким ветром, задыхаясь от нечеловеческого напряжения. Клипер-бот медленно тащился за ним волоком. Ивашина никто не мог сменить, так как между ним и его товарищами, сидевшими в шлюпке, было около десяти метров расстояния, которые невозможно было пройти, не провалившись под лед.

Достигнув твердого льда, Ивашин вытащил клипер-бот на берег. Здесь, привязав к спине спальные мешки и продовольствие и вскинув на плечи ружья, товарищи простились с героем-бортмехаником. Они пошли влево по берегу, исчезнув в тумане.

Ивашин пополз обратно, обвязав грудь буксирным канатом.

Почти достигнув кромки, совершенно изнеможенный, обессиленный, он лег плашмя на лед. Он полз уже сутки. Огромным усилием воли он заставил себя проползти десять метров обратно к лодке, влез в спальный мешок и, повалившись на лед, уснул мертвым сном.

Плеск воды заставил лежащего на льду человека поднять голову. Немного спустя он полз опять, опираясь онемелыми руками в дерево весел, превращенных в лыжи... для колен. Спустив клипер-бот в воду, Ивашин закружил в тумане по полынье, разыскивая самолет. Огромные ледяные сосульки свисали с бортов пловучего воздушного корабля, захлестываемого волнами залива. Самолет леденел.

Ночью неожиданно полил дождь, сменившийся страшным штормом.

Шторм бушевал трое суток. Волны, окатывая самолет, застывали на корпусе судна. Кольцо открытой воды сужалось под напором низких температур воздуха. Самолет леденел, тяжелел, все глубже осаживаясь корпусом. Надо было каждый час, каждую минуту быть готовым к катастрофе. Продовольствия оставалось на день, на два, не больше.

Ивашин, в прошлом моряк, лучше всех управлялся с лодкой. Решив эвакуироваться с самолета, экипаж все свои надежды возлагал на легкую резиновую шлюпку. Ее несколько раз спускали на воду. Ивашин выбивался из сил, работая веслами, но ничего не мог сделать. Ветер, со страшной силой дувший с берега, не давал утлому суденышку продвинуться вперед. Волны окатывали несчастного гребца, одежда которого твердела, как жесть, промерзая насквозь. Лодка кружилась на одном месте.

Воспользовавшись относительным затишьем, Ивашин посадил на клипер-бот больного пилота Рябенко, захватил винтовку, револьвер, жалкий сверточек продоволь-

ствия и оттолкнулся от борта самолета. Приближаясь к берегу, Ивашин с содроганием думал о пятикилометровом пути, который ему предстоит опять проползти по хрупкому льду на коленях, имея на буксире лодку с человеком. Но, к его удивлению, лодка пристала непосредственно к берегу. Шторм, оторвав припай льдов от берега, унес их в глубь залива. Высадив Рябенко, Ивашин дал выстрел, служивший условным сигналом о благополучном прибытии к берегу, и, сев в клипер-бот, поплыл обратно к самолету.

Магнето и глушители бортмеханик забил ветошью, тщательно укрыл и укутал наиболее нежные части машины и аппаратуру, налил в бидон масло для растопки будущих костров и, захватив кое-какую одежду, погрузил все это в клипер-бот. Поверх вещей, кроме Ивашина, в лодку сели два последних члена экипажа — Орлов и Моисеевич. Но бот не выдерживал тяжести груза, одному — Моисеевичу — пришлось остаться.

Была уже глубокая ночь, когда клипер-бот с Орловым и Ивашиным дошел до берега, где их ждал пилот Рябенко. У берега опять появилась узкая полоска припая, острого, как нож. Произведя выгрузку, Ивашин впрыгнул в лодку, отправляясь в третий рейс. Погрузив Моисеевича и кое-какие вещи, Ивашин сел за весла. Легкая лодка качалась у борта обвешенного громадными сосульками покинутого самолета.

Берега Ивашин достиг уже только на рассвете. Туман рассеялся, и потерпевшие крушение люди увидели вдали низкие горы, сливающиеся с серым, безрадостным горизонтом. Разбредшись в разные стороны по берегу залива, люди набрали плавники и развели костер. Обогревшись и высушив одежду, Ивашин, Рябенко, Орлов и Моисеевич решили ждать здесь в течение двух суток известий от Жихарева и Грекова, ушедших пять дней назад пешком по берегу. На случай, если известий не последует, было решено разбиться на две группы по два человека и разойтись по берегу — направо и налево — искать какое-либо человеческое жилье. Но вечером того же дня неожиданно раздался далекий выстрел, и со стороны гор показались две фигуры. Это был Жихарев, возвратившийся к месту аварии с одним рыбаком. Он сообщил, что ему с Грековым удалось кило-

метрах в шестидесяти отсюда набрести на избу зимовщиков-рыбаков, с помощью которых они добрались до фактории Гыдо-Ямо. Здесь оказалось пятьдесят-шестьдесят банок горючего. По сообщению Жихарева, Греков двигался к месту посадки самолета с этим горючим погруженным на нарты. Жихарев, немного отдохнув пошел вместе с Ивашиным навстречу оленьему поезду с горючим. Шли двое суток, проваливаясь в снег и воду, едва не отморозили конечности. Добравшись до рыбацкой избы, узнали, что оленьи нарты с бензином идут уже по тундре к берегу залива.

Нарты, груженные горючим, пришли к лагерю экипажа «Дорнье-Валя» в вечернее время. Залив с каждым часом замерзал все более и более. Поэтому Ивашин вместе с пилотом Рябенко, не теряя дорогого времени, сейчас же погрузили два бидона горючего на клипер-бот и отправились в плавание к самолету. В момент, когда лодка подходила к «Дорнье-Валю», ее швырнуло волной, и громадные острые сосульки, свисавшие с борта обледенелого самолета, пробили бок резинового клипер-бота. Зашипел воздух, клипер-бот сжался, и Рябенко с Ивашиным еле успели вскарабкаться на борт машины и втащить туда получившую пробоины лодку.

Шел двенадцатый час ночи — было абсолютно темно. Не мешкая ни секунды, Ивашин вскрыл первый бидон и вылил его в бак. Он взялся было за второй, как вдруг почувствовал сильный запах бензина. Бросившись вниз, Ивашин впотьмах нащупал течь из поломанного бензинопровода. Драгоценный бензин убегал. Ивашин, кинувшись к каюте, выбежал с мыльницей и замазал щель в бензинопроводе мылом, остановив течь. Во втором бидоне вместо ожидаемого бензина оказалось масло. Опять неудача!

Вновь поднялся ветер и забушевал шторм. Путь назад, к лагерю, был отрезан: в шлюпке — пробоина, резиновый клей остался на берегу, грозно рокочут волны в заливе, погруженном в чернильную тьму.

Рябенко и Ивашин остались ночевать на самолете. Чем укрыться от нестерпимого холода? В багажнике самолета имелось шестьдесят два мешка пушнины — прекрасные, пушистые меха песцов, огромные медвежьи шкуры, которым не страшен никакой мороз, никакой ветер. Меш-

ки — народное достояние, к ним притрагиваться нельзя, — решили пилот и бортмеханик и, расстегнувшись, обнялись и легли, согревая друг друга теплом собственных тел.

Утром, кое-как наклеив «тигаником» латку на боку клипер-бота, Ивашин и Рябенко поплыли к берегу за горючим. Пришлось одновременно с греблей качать ножным насосом воздух в двойные резиновые стенки лодки. Ветер опять был встречный, южный, словно здесь никогда не бывает попутных ветров. Целый день, надрывая мускулы, греб Ивашин, чтобы сломить сопротивление ветра.

На следующее утро Ивашин и Рябенко с четырьмя бидонами горючего вновь подплыли к самолету. Залили баки, наладили, заправили машину, пустили, — не берет мотор, глохнет, не дает зажигания, хоть плачь! Опять на дырявом клипер-боте отправились они на пустынный берег, к которому становилось все труднее приставать из-за увеличивавшегося припая.

Согрев на берегу воду в бидонах и закутав их в спальные мешки, Ивашин еще раз переплыл проклятый залив. Заправив кипятком радиатор, он промучился еще сутки над мотором и наконец, установив низкопробность добытого на Гыдо-Ямо бензина, уступавшего по своему качеству даже керосину, уехал в отчаянии греться у костра. Было ясно, что с таким бензином мотор не издаст ни звука. Ничто не могло уже вырвать самолет из ледяных объятий арктической стихии.

Зимовка самолета во льдах залива означала его гибель — это знали все. Поэтому радиостанция фактории Гыдо-Ямо передала весть о бедственном положении «Дорнье-Валя» полярным станциям, получив сообщение что на помощь замерзающему самолету вылетает пилот Алексеев. Ивашин, гревший у костра свои распухшие от мороза пальцы, слышал шум мотора где-то там, над головой, но густой низкий туман, как нарочно надвинувшийся в полдень с юга, прикрыл непроницаемым пологом и жалкий лагерь на берегу и беспомощную машину в заливе. Алексеев, не обнаружив ни людей, ни самолета «Дорнье-Валь», возвратился в Дудинку. Он не имел права задерживаться, во-первых, потому, что Гыдо-Ямо не могла снабдить его горючим, во-вторых,

воды повсеместно замерзали, наступала зима, пришел конец полетам в Арктике.

Ночью опять была снежная буря. Утром, взглянув на залив, люди обмерли: залив был скован льдами, самолет исчез... Снявшись с лагеря, экипаж «Дорнье-Валя» пошел по берегу, держа путь на факторию Гыдо-Ямо. Неизвестно, какое расстояние прошли они, тяжело шагая по снегу, когда неожиданно в прояснившейся дали увидели очертания воздушного корабля, который растерянно кружился в шуге, окруженный льдинами. Льды затирали легкий корпус машины на глазах экипажа. Ивашин в бессилии сжал кулаки. На его ресницах маленькими круглыми льдинками стыли слезы.

На фактории Гыдо-Ямо экипажу удалось сколотить спасательную экспедицию в составе двенадцати человек. Экспедиция разыскала самолет, впаянный во льды залива. Спасать машину было уже поздно — она одна весила четыре с половиной тонны, не считая шестидесяти двух мешков пушнины в багажнике. Было решено оставить на обледеневшем самолете Жихарева и Ивашина, поручив им связаться с рыбацкими зимовщиками для организации широких спасательных работ. Ивашин заявил, что он никуда от своего «Дорнье-Валя» не уйдет. Он тяжело захворал, при каждом движении у него шла кровь горлом.

29 октября, переборов болезнь, Ивашин отправился с Жихаревым на рыбацкие зимовки. За восемьдесят километров от самолета на зимовках они сбили спасательный отряд в числе шестнадцати рыбаков-добровольцев, достали багры, топоры, доски, веревку, две палатки. Кочующие в Гыданской тундре туземцы охотно дали оленей. Поезд в сорок нарт двинулся к вмерзшему в залив самолету.

Вырвать самолёт изо льдов было делом не легким. И Ивашин подошел к этому ответственному делу со всей серьезностью опытного авиотехника. Прямо тут же, на льду, Ивашин изобрел и конструктивно обдумал во всех деталях такой подъемник и полозья, на которых можно было бы вытянуть машину на берег, не проломив мягкого дюралюминиевого киля. Для большей наглядности бортмеханик ножом выстругал маленькую модель своего изобретения.

Река Ангара, впадающая в Енисей. Вид с высоты 800 метров. Снято Дебабовым с самолета.

Для такого подъемника нужны были тяжелые бревна метров по пятнадцать-шестнадцать длиной, много бревен. В восьми-десяти километрах от места спасательных работ имелось достаточное количество нужного плавникового леса. К этому плавнику устремил свои взоры наш бортмеханик Василий Лукич Ивашин. Каждое бревно тащили к месту работ три-четыре дня.

Натаскав нужное количество леса, спасатели в результате десяти дней напряженного труда сделали ворот-подъемник конструкции Ивашина. Приподымая самолет, они увидели, что он то уходит вместе со льдом, то валится на один бок. Перестроив работу, Ивашин начал вымораживать машину, подрубая вокруг нее лед. В день подрубали на два пальца, не больше. Вымораживание отняло еще тринадцать дней. Киль обнажался, высвобождаясь из плена, но на корпусе воздушного судна было тонн пять-шесть льда. Подведя стопудовые полозья под самолет, рыбаки под начальством Ивашина начали скалывать с корпуса льды.

Рыбаки-спасатели работали с поразительным героизмом.

За три дня до наступления полярной ночи кончилось все продовольствие. Посланный за ним на зимовку рыбак почему-то задержался, люди делили между собой последние галеты, но не прекращали спасательных работ. Полярная ночь наступала в конце ноября. Числа Ивашин уже не помнил. Самолет, вырубленный из залива, лежал поверх льда. Оставалось протащить его к берегу. Ивашин отмерил расстояние: девять тысяч семьсот пять шагов.

Голодные люди, впрягшись в канаты, шатаясь на льду, осторожно потащили самолет к берегу. Стояла ночь. Вечная глухая ночь. Солнце ушло из Арктики почти на полгода. И в ночь, когда поднялась пурга, сбившиеся в кучу герои услышали лай собак. Это прибыло продовольствие на собачьих нартах.

Девять тысяч шагов отряд героев-рыбаков прошел в девять суток, вытащив самолет на берег. Здесь Ивашин поставил плоскости машины, ее хвост и нос на якоря, накрепко заморозив их. Самолет окружили рамами, чтобы снега и бураны не причинили ему вреда. Остаться сторожить машину вызвался старик Иван Самбураков.

Он натянул над самолетом брезент, расставил вокруг на снегу капканы на песцов, великолепно устроившись в кабине.

Ивашин ушел со своей рыбацкой командой в зимовье. В течение декабря 1933 года, января, февраля, марта, апреля 1934 года не меньше трех раз в месяц он ездил на собаках навещать машину, очищая ее вместе с Самбураковым от снега. В конце мая, когда начало подтаивать, и собаки не могли уже везти нарты, проваливаясь в рыхлый наст, он прошел восемьдесят километров пешком к машине. Сердце чуяло неладное — и действительно, талые снега, наметенные огромным сугробом буранами, отяжелев, нажимали на плоскости самолета, грозя его смять, раздавить. Железный, неутомимый человек, не отдыхая, побежал обратно за помощью.

На собачьих нартах из фактории Гыдо-Ямо Ивашин помчался в тундру к туземцам за оленями и людьми. Из тундры он ехал на восемнадцати нартах с продовольствием и семью туземцами, согласившимися ехать к берегу залива. В новую спасательную экспедицию влились два коммуниста — политрук зимовки Гыдо-Ямо Петров и рыбак Козлов.

Окопав машину и отпустив людей, Ивашин остался у самолета. К нему вскоре присоединились Жихарев и моторист фактории Кириллов. Детально осмотрев машину, Ивашин, не торопясь, клепал дыры, проеденные суровой зимой в корпусе самолета, разобрал, проверил, вычистил моторы, готовясь к вскрытию вод.

Воды вскрылись в августе, только в августе 1934 года! И, когда спал снег, обнажив землю, Ивашин увидел, что между водами залива и самолетом лежит полтора километра берега. Он усмехнулся, поняв, что перестраховался зимой, протащив машину на буксире лишних тысячу пятьсот шагов. Теперь из-за этого приходилось разрешать новую проблему: вытащить гидроплан по земле к воде.

Осмотрев местность, Ивашин предложил товарищам подвести к самолету воду. Протекавшая неподалеку речушка позволяла надеяться на успех задуманного предприятия. Две недели ушло на рытье канала. Перемычку сорвали, и вода с жадным урчанием устремилась к машине. Самолет мягко закачался на вешней воде.

Самолет по каналу был выведен в залив. Здесь он внезапно накренился, едва не зачерпнув крылом воду. Машина села на подводный лед, который, как выяснилось, сковывал еще залив.

Трое суток Ивашин и Жихарев вели самолет по заливу, отталкиваясь шестами от подводного льда. Хоть и приближался конец августа, но льды крепко держались под водной поверхностью Гыданского залива, царапая киль самолета. Встретив уходящую в тундру протоку, Ивашин и Жихарев приплавили в нее самолет. Пришвартовав машину в надежном месте и забрав ружья, они ушли в глубь тундры исследовать протоку.

После двухдневной разведки было установлено, что протока выходит в реку Юрибей. Радостные, оживленно переговариваясь, они вернулись к машине, дважды, трижды, четырежды спасенной от неминуемой гибели. Впрягшись в бечеву, как бурлаки, Ивашин, Жихарев и Кириллов потащили волоком самолет по протоке. Сорок девять часов тянули бечеву по берегу три бурлака. Тундра цвела под ногами, зеленея бескрайными просторами.

На реке Юрибее низкопробный гыданский бензин, принесший столько горя зимой Ивашину, дав неожиданно вспышки, наполнил гудом и рокотом поршни и цилиндры моторов, замолкших одиннадцать месяцев назад. Плавно руля по реке, красавец «Дорнье-Валь» вышел к фактории Гыдо-Ямо, куда 23 августа примчался по воздуху летчик В. Махоткин, доставивший горючее самолету.

ГЛАВА VI

В устье великого Енисея. — Рыбацкая флотилия Анциферова. — Старт на Диксон дан. — Самолет заблудился в тумане. — Таинственная хижина под снегом. — По волчьему следу. — Как радист Зибрев нашел в эфире над мысом Шайтанским друга. — Вход в Карское море закрыт штормовой метелью.

Мы встретили самолет пилота Махоткина, как я говорил, под Дудинкой, столицей далекого Таймыра. Молодой ленинградский летчик, год назад заполучивший на борт своего самолета такого механика, как Василий Лукич Ивашин, шел по воздуху справа, по всем правилам уличного движения. Он летел против течения реки, держась левого берега Енисея. Мы летели вдоль берега по течению и, оставив в стороне Дудинку, перешагнули в эфире грань всех арктических полетов зимой.

Далеко вокруг не было ни деревца, ни кустика. Белая равнина громадным снежным океаном стлалась по берегам великой реки, очертания которой вырисовывались лишь кое-где в виде узеньких черных полосок. Только они, эти полоски, разорванным, извилистым пунктиром намечали наш курс к северу, служа нам путеводителем к льдам Карского моря. Молоков, уверенно перешагнув в воздухе одну из таких извилин, пошел резать огромную петлю, которую образовывала река при выходе к устью. Солнца не было: оно исчезло минут через десять-пятнадцать после нашего вылета из Игарки. Пасмурная погода сильно ухудшала видимость, и, если б не чернота извилин, разбросанных по снежной поверхности, мы, пожалуй, пролетели бы мимо Усть-Порта.

Десяток деревянных изб и утепленных бараков зимовки Усть-Порт, лепящихся вдоль горы, у макушки которой возвышалась мачта отличной радиостанции,

имеющей два дизеля и хорошую аппаратуру. Несколько на отлете от поселка, окруженного глубокими снегами, стоит здание консервного завода. Мы совершаем здесь посадку на естественной снежной площадке, которая совсем непохожа на русло реки, настолько она сливается с окружающим рельефом. Все живое — люди, собаки — спешат к самолету, впервые в истории Арктики осмелившемуся залететь так далеко на Север в марте, отличающемся особо суровой и коварной погодой.

Консервный завод в Усть-Порту — самое северное производственное предприятие в Советском союзе. Он имеет солидную программу на 1935 год — выпустить один миллион семьсот пятьдесят тысяч банок высокосортных рыбных консервов — и в самые лютые морозы не прекращает работы, готовясь к весенне-летнему сезону. Весна здесь наступает со вскрытием льдов на Енисее, обычно в конце июля, и сливается с летом в августе. Тогда оживают пустынные берега реки и рыбацкие суда спускаются через устье в Енисейский залив, и на пустынных берегах в избушках, отстоящих друг от друга на многие десятки километров, появляются ловцы-сезонники.

Три четверти года река прячет свои рыбные богатства под толстым слоем льда. И до появления Ивана Ивановича Анциферова в заливе никто не тревожил зимнего покоя осетров и нельм. Коммунист Анциферов, имеющий отроду двадцать восемь лет, получил задание освоить этот район, изобилующий ценными породами красной и белой рыбы. Анциферов, не имевший в прошлом понятия о рыбном деле, прежде всего прошел рыботехнические курсы в Красноярске. Изучив технику лова и обработки, Анциферов навербовал в Красноярске триста ловцов и выехал с ними в июне 1932 года с караваном судов вниз по Енисею. Народ был разный — многие не только никогда в жизни рыбой не промышляли, но и порядочных рек не видали. Штаб Анциферова составляли восемь черноморцев, знатоков глубевого лова рыбы. Эта первая рыболовная экспедиция положила начало эксплоатации нетронутых рыбных богатств северных вод.

Анциферов, отправив по окончании летнего сезона людей обратно в Красноярск, оставил на зимовку на берегу залива четырех рыбаков во главе со старшиной — ловцом Исаковым — для разведки возможностей зимнего

Суда, вмерзшие в лед реки Енисея в Усть-Порту.

лова. Для них была выстроена избушка, оставлен запас продовольствия.

Летом 1933 года Анциферов пустился в плавание из Красноярска на рыбный промысел в залив, имея семьсот человек ловцов и солидный караван судов. Караван, подойдя к Подкаменной Тунгуске чистой водой, пошел здесь непосредственно вслед за льдами. Но неожиданно в тыл каравана, плывшего по Енисею; река Подкаменная Тунгуска бросила с верховьев огромную партию льдов. Льды, грохоча, нагнали караван Анциферова. Пароход «Лоцман Лайнс» бросил буксир и позорно сбежал, оставив на произвол судьбы «Лихтер № 3 Северпуть», «Баржу 24», бот «Белушатник» и рыбницу «Волну», рядом с которыми плыли боты «Бурный» и «Красный партизан», буксировавшие шхуны «Комсомолку» и «Делегатку». Командир каравана Иван Иванович Анциферов, не растерявшись, приказал судам отдать якоря, но льды порвали сейчас же все цепи, угрожая полным уничтожением каравану. Тогда вместо якорей были пущены в ход грузы — рельсы для узкоколейки, двухтонные ящики и все, что было потяжелее. Но и это не помогло. Затертый льдами караван задрейфовал вниз по реке.

Караван дрейфовал сто шестьдесят километров, стиснутый громадой льдов, и прошел мимо Игарки, бессильной помочь чем-нибудь бедствующим людям и судам. В двадцати километрах ниже Игарки дрейф временно прекратился, и, пользуясь этим, ловцы во главе с Иваном Ивановичем, перебегая по плавающим льдинам, перенесли тромы на берег, цепляя их за торосы и деревья. Но льды опять нажали, вырывая с корнем деревья, и, оторвав «Комсомолку» и «Делегатку», раздавили их, как яичную скорлупу. Люди еле спаслись по льдам. Вслед за «Делегаткой» и «Комсомолкой» погибла парусно-моторная «Волна», получив огромные пробоины и вмятины. Енисей неистовствовал, наводя страх на суда и людей. Но молодой адмирал рыбацкой флотилии, собрав остатки своей потрепанной армии, привел ее все же в Усть-Порт.

Вход в залив был прегражден льдами. Выждав шесть суток, флотилия прорвалась в залив, достигнув 9 июля Бреховских островов. В лучших местах лова — в Иннокентьевской губе — стоял подводный лед. Он тронулся

в ночь с 18 на 19 июля, а на следующий день, зная, что рыба движется стадами вслед за льдом, рыбаки забросили сети по всему побережью.

Срубив на Иннокентьевской губе два дома, заготовив летом дрова, оборудовав радиостанцию, Анциферов оставил зимовать тридцать ловцов. Они добыли в прорубях залива подо льдом восемьсот центнеров великолепной рыбы. Возможность зимнего лова рыбы на полярных широтах Енисея была доказана.

Летом 1934 года Анциферов появился в Енисейском заливе третий раз, опять выполнив план лова в пять тысяч двести пятьдесят центнеров. Неурядицы с заброской стройматериалов срывали задуманную зимовку. Тогда Иван Иванович Анциферов, отправив основную массу ловцов домой с последней водой, остался зимовать сам с группой в шестьдесят пять промышленников. Собрав на берегу плавниковый лес, он в условиях зимних холодов выстроил прочное и теплое общежитие с отдельной комнатой для двух семейных промышленников с сушилкой для одежды, воздвигнув также здание радиостанции, баню и складское помещение для орудий лова. Кроме того зимовщики выстроили отдельный дом для конторы с квартирами административно-технического персонала и амбулаторией. На зимовке остались для научных наблюдений за поведением рыбы техник по добыче Маневич и рыбовед-биолог Соловьев.

10 марта утром, когда мы взмылись над Усть-Портом, стартовав на остров Диксон, радиостанция на борту нашего самолета перехватила радиограмму зимовавшего на Иннокентьевской губе Анциферова. Передавая Таймырна Иннокентьевской губе Анциферова. Передавая Таймыртресту очередной месячный отчет, он сообщал, что зимний лов идет хорошо и что в пургу и шторм, когда рыбаки свободны от работы, они делают порядочные успехи по обществоведению, математике и естествознанию. Одновременно Анциферов передал в эфир информацию о том, что у рыбака Киприна родилась дочь, которая занесена в списки зимовщиков Иннокентьевской губы и распоряжением начальника зачислена на все виды довольствия.

Это приятное известие радиостанция нашего самолета перехватила в 9 часов 15 минут утра 10 марта, минут через двадцать после вылета из Усть-Порта. Мо-

локов имел твердое намерение покрыть расстояние Усть-Порт — остров Диксон беспосадочным полетом над самой северной частью Таймырского полуострова, в широтах, где за всю историю человечества зимой не появлялся в воздухе ни один человек. При вылете солнце сияло на небе, хотя и это сияние было каким-то тусклым и неестественным, словно кто-то прикрыл небесное светило рисовой папиросной бумагой. Река, расползаясь на десятки русел километра по два, по три шириной, петлила кое-где кромками многочисленных берегов, еле возвышавшихся над снежным безбрежьем мертвой равнины. Ширина разливов достигала тридцати километров, и здесь очень нетрудно было заблудиться, так как черные полоски, обвеваемые ветрами обрывистых берегов, встречавшиеся на нашем пути до Усть-Порта, исчезли почти совершенно.

Погода пошаливала. Солнце играло с нами в прятки, то показывая клочок яркосинего неба, то забираясь за густые и тяжелые облака. Все чаще встречались в эфире кусочки метелей, и все ближе к земле надвигались серые массы туманов, сбегавшихся к разливам застывшей реки из дебрей тундры. Температура была вполне терпимая: минус 24.

Перед вылетом из Усть-Порта Молоков предупредил меня, что на этом ответственном этапе перелета необходимо вести особо тщательные штурманские наблюдения, и я, выложив на колени часы и карту, старался угадать очертания реки в серовато-молочной поверхности тундры, окутанной туманом. По времени мы должны были быть в районе Бреховских островов, где ежегодно гибнет немало рыбацких лодок, вышвырнутых штормами на гребешки мелей. Между нами и Диксоном лежал лишь один жилой пункт, маленькая зимовка Гольчиха, несколько изб, занесенных снегами, изб, мимо которых можно пролететь, не заметив Гольчихи даже в ясную погоду.

На несколько секунд наступило прояснение. Я успел лишь заметить, что внизу так же бело, как и вверху, как справа и слева. Я почувствовал, как Молоков, уменьшив поступление газа в мотор, сбавил ход самолета, снижая высоту полета. Всякая видимость и ориентировка были потеряны, пилот, известный своим бесстрашием

В воздухе загудел мотор нашего самолета, и зимовка Усть-Порт ожила — люди высыпали из домов, спеша к месту нашей посадки.

и хладнокровием, щупал воздух и землю с присущей ему осторожностью. Радист Зибрев, закрыв глаза, сосредоточенно вслушивался в звуки, носившиеся в эфире, еле заметно покручивая настройку.

Молоков, сбавив обороты винта до минимума, искал для посадки невидимую землю. Я уткнулся в карту, сверяясь по часам. Никаких населенных пунктов на расстоянии 1 часа 10 минут от Усть-Порта на карте не значилось, кроме Гольчихи, до которой мы по времени никак не могли еще долететь. Значит, вынужденная посадка на одном из «белых пятен» Таймыра?

Открываю дверцы кабины и, зацепившись концом шарфа за ручку, тяжело вываливаюсь на снег. Из пилотской неторопливо вылезает Молоков, спокойный, как всегда.

— Где мы находимся, штурман? — спрашивает он меня, насмешливо поблескивая глазами, выцветшими от холода и ветров.

Я понятия не имею, где мы. Я смущенно лепечу, что наблюдений из-за тумана вести было невозможно, и высказываю предположение, что мы находимся где-то на Бреховских островах.

— Бреховские острова велики! — кричит, вылезая, Побежимов. — Ты скажи точно, где мы сели, на то ты и штурман, — продолжает он, спрыгивая с крыла.

— Я сейчас определю, — отвечаю я, бросаясь со всех ног к возвышенному берегу напротив и оглядывая на ходу местность.

Мы опустились на один из рукавов Енисея шириной в три-четыре километра. На левом берегу реки, у подошвы небольшого холма, шагах в тысяче от того места, где мы сели, торчит из снега деревянная хижина, и я ясно вижу верхнюю часть ее окон, заваленных сугробами. Каждая минута работы мотора даже на малых оборотах на земле уменьшает количество горючего, которое мы можем достать только на Диксоне; поэтому я тороплюсь к хижине, надеясь узнать у ее обитателей, где мы. Я иду и удивляюсь, почему до сих пор никто не вышел из избы на шум мотора, слышный издалека, наконец на самую посадку самолета, который забирается впервые сюда в такую необычную пору.

Я внимательно обошел со всех сторон построенный

из грубо обтесанных бревен прочный домик. В нем два узких окна со стеклами, крепко-накрепко прихваченными морозом. Не показывает ли это, что недавно кто-то здесь жил, жарко топил и, от разницы в температуре воздуха внутри и снаружи, мороз разрисовал свои узоры на окнах? Да и ход, прорытый в глубоком снегу к двери, тоже указывает на недавнее присутствие человека, хотя и он занесен на три четверти снегом. Это могло быть сделано и в месяц и в полчаса пургой. Крупный волчий след, направляясь к заметенному снегом ходу, поворачивает назад, образуя замкнутый круг вокруг хижины. След свежий, полярный волк здесь был совсем недавно, может, он лежит сейчас где-нибудь вблизи от меня, затаившись.

Я кричу, нагибаясь к замороженному окну:

— Эй, кто там, отзовись!

Молчание.

Я становлюсь на колени и соскребаю ножом изморозь с одного из окон. «Кто знает, — думаю я, — может, внутри избы, за дверью, заваленной тяжелыми сугробами, лежит тело одинокого смельчака-зимовщика, болеющего цынгой, от которой пухнут ноги и руки, отнимается способность передвигаться и тело покрывается черными пятнами». Я заглядываю в соскребленный глазок — темно, ничего не видно. Я еще раз кричу:

— Э-ге-ге-ге-ге!..

Ни звука. Только хрустнул снег под коленом. Как громко хрустит здесь снег! Сбрасываю рукавицы, трогаю пальцами снег, удивляясь, насколько он сух.

Я тщательно осматриваю снаружи избу, в которую невозможно проникнуть. К углу домика крепкими просмоленными веревками привязано одиннадцать весел. Рядом на козлах, очевидно врытых в мерзлую землю, днищем вверх лежит лодка. Тут же несколько бочек, набитых обледеневшими неводами. Проваливаясь в сугроб, я возвращаюсь к окну и, надышав на стекло, вглядываюсь в темноту, вижу громадный сугроб в избе, почти до потолка. Очевидно, бураны нанесли этот снег через дверь, или изба имеет еще одно выбитое окно, у другой стены, похороненной до самой крыши.

Прохожу шагов тридцать вниз и неожиданно натыкаюсь на крышу погребенного под снегами дощатого са-

райчика. По волчьему следу читаю: здесь волк стоял на задних лапах, положив передние на заметенную крышу.

Я спускаюсь с холма, направляясь к самолету, и вижу фигуры Молокова и радиста Зибрева, удаляющиеся от самолета в противоположном направлении. Побежимов эпически спокоен. Он возится над чем-то у мотора так, как будто бы мы на аэродроме в Свердловске или Новосибирске.

— Ну, как? — спрашивает он меня, не отрываясь от работы.

Отвечаю:

— Пусто. Не у кого спросить. Есть только большой волчий след.

— Волчьих следов тут до чорта. Нам бы человеческий, — отзывается Побежимов, опуская капот машины.

Я смотрю себе под ноги и вижу, что на протоке действительно немало волчьих следов. Здесь через реку с той стороны, куда ушли обследовать берег Молоков и Зибрев, очевидно, переходила стая полярных волков, не меньше двадцати, судя по следам.

— А может, на него напали волки, — высказываю я вслух свои мысли, вспоминая таинственную хижину, похороненную под сугробами.

— На кого, на Сидорова? Не-е-ет, не таков он, чтобы волкам поддаться, — тянет Побежимов, закуривая папиросу.

— Какого Сидорова? — спрашиваю я в изумлении у бортмеханика, который, очевидно, знает, кому принадлежит одинокая, таинственная хижина на одном из бесчисленных островов Енисейского залива, известных под названием Бреховских.

Побежимов уверенно тычет пальцем в карту, заявляя, что мы сели там, где он провел ногтем черточку. Молоков, возвратившийся из разведки с противоположного берега, где он осматривал извилину реки, молча слушает своего старого друга, с которым впервые за все время нашего путешествия он разошелся во мнениях. Еще до ухода Молокова для осмотра берега Побежимов уверял, оказывается, что вынужденная посадка совершена в районе Бреховских островов, неподалеку от речки Такну-Лава, у избы рыбака Сидорова. Он знавал Сидорова, нелюдимого великана-старика, который один-одинешенек

живет на необитаемом берегу залива, промышляя осетра и нельму, а также песца. Переселившись сюда после тяжелой драмы много лет назад, когда внезапно разбушевавшийся Енисей разбил его утлую лодчонку, потопив жену и дочь Василису, звонкоголосую, статную красавицу, соревновавшуюся с отцом в искусстве лова рыбы и промысла зверя, он жил один в избе на Бреховских островах.

Но не каждую зиму оставался здесь великан-старик. В два года раз он с последними судами уходил вверх по реке в Красноярск и пил здесь запоем с горя, пропивая накопленные суровым трудом деньги, и, возвратившись с первой водой, еще более мрачный и нелюдимый, отвязывал весла, очищал и смолил лодку, заправлял сети и выезжал на лов.

Мы заняли свои места для продолжения полета. Самолет примерз лыжами к снегу, и нам пришлось вылезать, раскачивать машину и толкать ее вперед. Опыт Игарки принес мне и радисту немалую пользу, мы быстро справились с этой работой, сдвинув с места с помощью мотора примерзший самолет.

Полный газ! Вперед! Мы в воздухе! Молоков уверенно ведет самолет к северу, хотя и внизу ничто уже не выдает присутствия реки, долженствующей служить нашим проводником. Снежная ровень и больше ничего, кроме горизонта, который намечается лишь в те минуты, когда мы пролетаем квадратик, заключающий в себе ясное небо и солнце. Все остальное время нет даже линии горизонта, сливающегося с земной поверхностью. Но мы идем все вперед и вперед, оставляя позади себя белые пятна легендарного Таймыра. Мы находимся уже примерно в двух часах полета от конечной цели нашего путешествия — острова Диксона.

Радист Михаил Флегонтыч Зибрев, подправив наушники, посылает свои позывные знаки в эфир, стараясь связаться с Диксоном, чтобы получить метеорологическую сводку о погоде в районах, прилегающих к Карскому морю, и на самом острове. Квадратики ясного неба исчезли совершенно. Чем ближе мы продвигаемся к северу, тем ниже падает спирт в термометре на крыле

самолета, тем пасмурнее становится вокруг. И радист мрачнеет на моих глазах: на его позывные сигналы никто до сих пор почему-то не откликается.

Вдруг Зибрев насторожился и, вырвав у меня из рук карандаш, начал что-то быстро записывать в свою тетрадку для приема телеграмм.

«...А ты не знаешь, где они сейчас, сию минуту?» записал Зибрев.

Самый северный в мире завод (консервов) в Усть-Порту.

«Врешь, Володя, наверно не хочешь сказать».

«Что?»

«О том, что они вылетели в 8.55 из Усть-Порта, — это я без тебя знаю, — продолжала разговор неизвестная станция. — А скажи мне, кто еще, кроме Молокова, бортмеханика, спецкора... летит на...» — продолжал записывать подслушанный разговор в тетрадку наш радист.

«Зибрев?.. Это какой Зибрев? — записал он, и лицо его расцвело широченной улыбкой. — Это не тот ли Зибрев, который летал наблюдателем у Махоткина?»

Зибрев, бросив карандаш, потряс всердцах свою радиостанцию и, схватившись за ключ передатчика, заорал неожиданно мне в ухо диким голосом:

— Друг... Понимаешь, друг! Колькой зовут!.. Год не виделись!

Через минуту, выбивая ключом точки и тире, Зибрев, как смерч, ворвался в разговор Гольчихи с Диксоном и, откинувшись на кресло, записал в тетрадку с блаженным выражением на лице:

«Мишка!.. Мишка!!! Флегонтыч, чорт лысый! А помнишь, как мы с тобой на «Циркуле» плавали?.. А помнишь, Мишка...»

Радист Михаил Флегонтыч встретился неожиданно с другом в эфире, и через несколько минут после любовных излияний в эфире мы имели уже из Диксона сводку о плохой погоде в заливе при выходе в Карское море и о том, что на острове началась снежная метель при ветре в семь-восемь баллов. Мы пролетали мыс Шайтанский, находясь в каких-нибудь пятидесяти-шестидесяти пяти минутах от Диксона. Густой, липучий туман бежал нам навстречу, тяжело переползая через крыло. Я пронам сунул в окошечко метеорологическую сводку, тыкая в спину Побежимова.

Не прошло и минуты, как сводка вернулась ко мне обратно с надписью Побежимова: «Уже двенадцать минут, как мы идем обратно».

Как обратно?! Когда успел повернуть машину Молоков и почему я этого не заметил? Разве не обидно лететь обратно, когда залив уже кончается и мы вступаем в преддверие Карского моря, знаменитого «ледяного мешка», в котором нашли свою гибель многие отважные мореплаватели? Обидно! Но густейший туман не дает уверенности в благополучном следовании дальше над торосистыми льдами моря, где не так-то легко найти площадку в случае вынужденной посадки, и Молоков, верный своим принципам, повернул самолет назад.

Я знаю отвагу и решительность Молокова и сквозь броню стекла, отделяющего нас, чувствую, что ему возвращаться еще обиднее, чем мне. Пролететь столько тысяч километров, выдержать столько испытаний и, почти долетев до заветной цели, поворачивать обратно, искать в тумане три-четыре избушки заметенной снегами Голь-

чихи... Да! Для этого нужно иметь больше выдержки и мужества, чем для того, чтобы ухарски лететь вслепую вперед, ставя под никчемный риск машину и людей.

Заглянув в свои записи в бортбухе, я вычисляю, что с момента вылета из Усть-Порта мотор работает в полете почти четыре часа, не считая работы на месте вынужденной посадки на Броховских островах. Весь запас горючего на нашем самолете рассчитан на шесть часов полета. В Гольчихе нет бензина.

Я вымеряю циркулем расстояние от Гольчихи до Диксона — 1 час 40 минут — 1 час 50 минут полета по прямой без блужданий. Да, что-то будет?.. Молоков идет осторожно и низко, прощупывая сквозь туман мрачную снежную равнину. Он ищет три-четыре избушки полярной зимовки Гольчихи на берегу пустынного Енисейского залива. Он ищет и найдет, я не сомневаюсь! На то он и Молоков.

ГЛАВА VII

Полярная зимовка Гольчиха. — Стены нашей спальни обвешаны сосульками. — Хватит ли бензина для полета на Диксон? — Мы наблюдаем поразительные изменения арктической стихии. — Наш пилот глотает сырую рыбу. — Ветры уничтожили наш аэродром. — Самая северная газета в мире выходит ежедневно в тринадцать часов дня.

На малых оборотах Молоков тянет машину против ветра вдоль снежной поверхности Енисейского залива, усеянной острыми торосистыми льдами. Самолет, повернувший от мыса Шайтанского обратно на юг, ищет безопасное место для посадки, кружа, как встревоженная птица, в районе полярной зимовки Гольчихи. Уже четверть седьмого по местному времени: близится вечер. Осторожный пилот, подлетая на малых оборотах к самой земле, в десяти метрах от нее дает полный газ и взмывается вверх для того, чтобы, сделав плавный поворот в воздухе, опять сбросить газ и итти бреющим полетом над землей, выискивая посадочную площадку без предательских ропаков, торчащих из-под снега. Низкая облачность, прижимая машину к земле, не позволяет Молокову осмотреться с высоты в окружающей местности и выбрать наилучшее место для посадки. Сжимая рули высоты, пилот идет на вынужденную посадку — в полном смысле этого слова, — на вторую вынужденную посадку за этот злосчастный день.

Поставив машину с геометрической точностью параллельно к земле, Молоков с великолепной чистотой прикасается тремя точками передних и задней лыж к снежной поверхности естественного аэродрома. Я налетал не один десяток тысяч километров по воздуху за время своей журналистской деятельности, и мне знакомы различные стили посадок самолета, но всякий раз я восхи-

щаюсь легкостью и непринужденностью, с какой приземляется летательный прибор в руках пилота-героя.

В бинокль я с трудом нахожу крыши трех домиков, которые дали право полярной Гольчихе быть отмеченной на географических картах как населенному пункту. До самой зимовки километра четыре. В стеклах бинокля я нахожу несколько черных точек, продвигающихся к месту нашей посадки. Это спешат зимовщики, очевидно привлеченные рокотом мотора, потревожившего мертвый покой огромных безлюдных пространств полярной тундры. Побежимов, широко раздвинув руки, шагает им навстречу, обходя наторошенный лед и торчащие из снега небольшие, но острые ропаки. Оглядываясь назад, он указывает путь самолету. Молоков медленно рулит за пешим бортмехаником, объезжая опасные места. В полутора-двух километрах от зимовки происходит встреча самолета с несколькими одетыми в теплые полушубки и меховые парки обитателями Гольчихи. Их человек десять-двенадцать, и в том числе четверо туземцев, — все население этого пункта, отмеченного на картах довольно солидным кружочком.

Самолет подрулил к самому подножию холма, на котором торчали в снегах жилые строения маленькой полярной зимовки. Закрепив крылья и хвост машины на случай ветров или пурги, мы пошли вверх по холму, направляясь в здание метеорологической станции Главного управления Североморского пути.

Зимовка Гольчиха, казавшаяся мне по карте солидным населенным пунктом на полярных широтах, состояла всего только из трех изб, возведенных на подошве холма, называемого Шайтан-горой. Справа стоит здание больницы-амбулатории, в которую в один из дней незадолго до нашего прибытия ворвалась пурга и замела все помещение глубоким снегом, загнав фельдшерицу с мужем в дальнюю комнатку. Они так и остались тут, бессильные что-либо сделать, так как для удаления снега и очистки обледеневшего помещения надо было бы мобилизовать все население Гольчихи по меньшей мере на месяц. В центре зимовки, ниже больницы, расположилась изба Интегралсоюза (северной кооперации), в которой помещалась также радиостанция. Здание кооператива представляло собой типичное северное помеще-

ние. Четыре жилых комнатки и магазин, вытянувшиеся слева от входа, были отделены от маленькой черной бани, конюшни и помещения собак внутренним, крытым проходом-двориком с закрытыми воротами. Чердак был приспособлен под склад товаров. Это был настоящий полярный бастион, погруженный в темноту и днем и ночью, в котором даже двор был отгорожен от внешнего мира стенами и крышей.

Небольшая гнедая лошаденка, защищаясь от потрясающе низких температур воздуха, обросла неимоверно длинной шерстью. Можно смело сказать, что этот коняга был своеобразным чемпионом — дальше него на Север не забиралась ни одна лошадь. Впрягая ее в сани, рабочий ежедневно ездил по тропинке, протоптанной между ропаками, к берегу залива за дровами, погребенными под толщей снегов.

Крохотная комнатка была одновременно и служебным помещением радиостанции и жильем для радиста Владимира Шелковникова и его жены. Ветер и снег по непонятному капризу щадили эту самую светлую и теплую в Гольчихе комнатку. Зато в самом магазине было холодно и темно, как в преисподней, и приказчик шнырял по прилавку со стеариновой свечой, бросая деньги на одну из полок, где они собирались в кучу до таяния льдов и открытия путей. Тут же висели на гвоздях связки песцовых шкур, доставляемых кооперации из тундры промышленниками-туземцами.

Здание метеорологической станции, расположенное выше остальных, было выстроено лишь осенью 1934 года. Плотники еле успели уехать с последней водой, оставив этот сырой, сколоченный из толстых бревен верхового леса дом на четыре комнаты с сенями и маленькой кладовой.

Мы охотно приняли приглашение заведующего метеостанцией Ивана Федоровича Гудова остановиться именно в этом доме. Да и собственно больше жить здесь негде.

Я вхожу в переднюю и открываю дверь, ведущую внутрь здания, и первое, что бросается мне в глаза, — это внутренняя сторона двери. Она покрыта не менее чем на восемь-десять сантиметров слоем пожелтевшего льда, с которого свисают длинные сосульки. Железная

«печка» жарко топится и с подтаивающих сосулек каплями стекает водица, образуя у порога лужицу.

Иван Федорович Гудов уступил нам свою комнатку и кабинет. Здесь была всего лишь одна сбитая из досок узенькая кроватка, и, бросив жребий, мы ее проиграли радисту Зибреву. Нам оставалось расположиться спать на полу, прикрытом невыделанными шкурами оленей, которые принес из своего склада кооператор Симонов. Странный климат оказался в этой комнатке. Я много поездил на своем веку, но такой резкой континентальности климата нигде не встречал. У стены, где стояла кровать счастливого избранника судьбы — Зибрева, было градусов семь-восемь тепла. В середине комнаты, в двух метрах от кровати, температура держалась на нуле, а двумя метрами дальше, у окна в стене, выходящей на север, стояла температура минус 5. После короткого совещания мы стали устраиваться на ночлег на свободной площади пола, между кроватью и столом, сдвинутым к окну. Ни одеял, ни подушек, понятно, мы с собой на самолете не везли, кроме спальных меховых мешков, взятых на случай какого-нибудь непредвиденного происшествия. Чтобы не отягощать лишним грузом и без того перегруженную машину, мы взяли с собой из Красноярска только два меховых мешка, рассчитывая, в случае аварии, спать в них по полтора-два часа поочередно. Метеорологи предложили нам свои одеяла, но мы категорически отказались стеснять любезных хозяев. Было решено спать в верхней одежде, надев теплую обувь, высушенную у печки.

— Комбинезонов не снимать, — произнес командир нашего воздушного судна.

Первым подал пример Побежимов. Натянув на голову теплую шапку, он расстегнул до пояса автоматический замок своего комбинезона, вытащил руки из рукавов и лег на оленьи шкуры. Вытянув руки по швам внутри комбинезона, он попросил меня закрыть замок. Я натянул автоматический запор до его горла, наглухо укупорив бортмеханика. Он был похож на огромного забинтованного младенца, так же как и Молоков, который проделал такую же операцию со своим комбинезоном из желтой кожи, подбитым мехом под обезьяну. Я лег с краю, ближе всех к окну, выходящему к северу, расстегнув ком-

бинезон. Надев свою пыжиковую шапку и спустив наушники, я их завязал так, как будто бы собирался в полет. Зибрев застегнул замок моего комбинезона, и я лег.

Ночь я не спал из-за холода. Мои соседи тоже, как видно, спали неважно, часто ворочались. Когда им нужно было перевернуться на другой бок, они подпрыгивали, переваливаясь на полу, как тюлени по льду. Под утро, окончательно замерзнув, я хотел уже встать и итти к самолету за меховым спальным мешком, но, прислушавшись, как подвывает ветер за окном, и представив себе, какой холод сейчас на дворе, я отказался от своего намерения. Да, собственно, я не мог бы его привести в исполнение без посторонней помощи. Чтобы достать с самолета спальный мешок, нужно расстегнуть чехол, обтягивающий фюзеляж, открыть кабину. Для этого нужны руки, а рук у меня нет — они плотно прижаты к моим собственным бокам, и я не могу высвободиться из комбинезона без посторонней помощи. И смешно, и грустно!

Когда рассвело, я понял, откуда идет этот сырой холод, не дающий сомкнуть глаз. Накануне, обратив внимание на поразительную континентальность климата нашей спальни, я из-за вечерней темноты не заметил очень важного обстоятельства: стена, у которой я лежал ближе всех на полу, почти на метр высоты была покрыта изнутри слоем такого же льда, как и дверь столовой. Спрятавшись под стол, с нее свисали сосульки, такие же желтые и скользкие.

Хмурый свет, струясь сквозь обледенелое окно, освещал хмурые лица моих товарищей. Молоков, проснувшись, делал отчаянные попытки высвободить руки из импровизированного мешка, стянутого металлическим запором до самого горла. Ему хотелось курить. Побежимов, подпрыгивая на оленьих шкурах, перевалился на бок и стал протирать глаза подушкой. Подушкой ему служила длинная меховая рубашка, которую он надевал обычно перед заправкой и осмотром мотора. Иван Федорович Гудов, войдя в комнату, освободил бортмеханика от замка. Он вытащил руки и раскупорил нас.

Умывшись ледяной водой, я подсел к железной печурке. Не надо было брать на себя труда выходить смотреть погоду. Сводка о погоде делалась тут же под нашей крышей в маленьком кабинетике, уставленном метеороло-

гическими приборами. Иван Федорович сообщил нам, что ночью был поземок — надземный ветер — в пять баллов со снегопадом и на залив надвинулось еще больше тумана, чем вчера. Не было видно даже берега протоки, в которую накануне ввели мы свой самолет. Подниматься в воздух при такой видимости было безрассудно.

Выложив на стол бортовой журнал и мой блокнот с записями вчерашних полетов, мы приступили к точному выявлению остатков горючего. Произведя подсчеты, мы установили, что в баках самолета оставалось на 1 час 40 минут — 1 час 45 минут полета бензина. В Гольчихе не было ни капли этого драгоценного горючего, от которого отныне зависел успех или провал перелета — на последнем и самом ответственном его участке. Ближайшими пунктами, где представлялась возможность пополнить запасы бензина, были: на севере — остров Диксон, на северо-востоке — полярная станция на мысе Лескина и на юге — зимовка Усть-Порт. Возвращаться назад, в Усть-Порт? Уклонившись от прямого курса, итти на Лескин? Нет смысла.

Вооружившись циркулем и линейкой, мы сели за карту, вычисляя расстояние и компасный курс до Диксона. Оставшийся до полярного острова маршрут Молоков разбил на пять курсов беспосадочного полета.

Первый: Гольчиха — Сопочная Карга, 26 миль, по компасному курсу 339°, 17½ — 18 минут полета.

Второй: Сопочная Карга — мыс Шайтанский, 24 мили, компасный курс 356°, 16 минут полета.

Третий: мыс Шайтанский — бухта Широкая — остров Крестовский, 34 мили, курс 337°, 23 минуты.

Четвертый: остров Крестовский—мыс Кузнецкий—мыс Ефремов Камень, 45 миль, курс 381°, 30 минут полета.

Пятый: мыс Ефремов Камень — остров Диксон, 20 миль, курс 29°, 14 минут полета.

Итак, от Гольчихи до Диксона нам предстояло покрыть по этим курсам сто сорок девять миль, на что в нормальных условиях требовалось 1 час 40 минут—1 час 45 минут полета. Хватит или нехватит у нас бензина?

Побежимов и Молоков высказали убеждение, что с наличным остатком бензина мы дойдем до Диксона, если не будет лобового ветра, если с неба будет светить яр-

Фельдшерица Кузьмина с зимовки Усть-Порт.

кое солнце и туманы и снежные штормы не собьют нас со строгих линий пяти курсов, отчеркнутых на карте с геометрической точностью. И без слов было ясно, что из Гольчихи надо вылетать только наверняка, при хорошей, надежной погоде, имея гарантии, что она не изменится за эти сто минут полета до Диксона. Но ни одна метеорологическая станция в мире не смогла бы дать нам такие гарантии, так как погода на тех широтах, где мы находились в коварном месяце марте, обладала способностью изменяться до неузнаваемости каждые пять минут.

Я собирался выйти из помещения на воздух, посмотреть, как выглядит этот самый ветер, который на метеорологическом языке называется поземком, когда дверь, обвешанная сосульками, открылась, и в столовую, вслед за облаком пара, ворвался худощавый мужчина среднего роста, одетый в меховые одежды. Небольшая, тщательно подстриженная бородка украшала его молодое лицо с приятными чертами. Он был шатен с коричневыми, немного грустными глазами.

Вошедший оказался радистом Гольчихинской радиостанции Владимиром Шелковниковым. Радисты острова Диксона, как сообщил нам Владимир Шелковников, с вчерашнего дня не давали ему покоя, расспрашивая, как чувствует себя Молоков, как выглядит его самолет, кто находится в составе его экипажа, каково его настроение, как скоро он собирается вылететь в дальнейший путь и т. д., и т. п. И хотя Владимир Шелковников отвечал своим коллегам, что пилот никого еще не поставил в известность о своих настроениях и намерениях, однако радисты Диксона продолжали к нему приставать, и вскоре к ним присоединились голоса дюжины других станций Арктики, не давая ему целую ночь спать. Гольчиха, которая до нашего прилета работала лишь пару часов в сутки с соседними полярными станциями, отныне становилась, по всем признакам, самой популярной радиостанцией на Арктике.

Потянулись томительные дни нашего вынужденного сидения в маленькой полярной Гольчихе. Каждый вечер, ложась спать, я надевал на себя весь свой запас теплых

одежд. Я приволок с самолета меховой спальный мешок и забрался в него на вторую ночь, устраиваясь на ночлег у насквозь промерзшей стены, на полу нашей спальни. Вдыхая едкий запах кислой собачьей шерсти, я ворочался на месте, то приваливаясь к боку своего соседа Побежимова, то откатываясь к стене, обросшей толстыми и круглыми ледяшками. Лед ночью подтаивал от теплоты дыхания четырех человек, поместившихся на крохотной площади комнаты, и лужицы воды, подбираясь справа к меховому мешку, наполняли его сыростью, еще более неприятной, чем холод. Поэтому я отказался от мешка, в котором одну ночь проспал полураздетым, и в дальнейшем ложился спать, как и раньше, в шапке, верхней одежде и теплой меховой обуви. Утром прежде всего мы бросались к окну, чтобы посмотреть, какая погода. Потом сушили у печки одежду и обувь и садились завтракать.

На четвертый день нашего пребывания в гостях у любезных метеорологов я полез в самолет за неприкосновенным запасом еды и достал сверток с колбасой. Мы считали неудобным есть все время продукты наших хозяев, метеорологов, которые, как всякие зимовщики, имели определенный рацион на время до окончания зимы и открытия путей для подвоза продовольствия. Колбасу я готовил сам. Я прогревал сковороду, заправлял ее маслом и накладывал колбасу, нарезанную кружочками толщиной в один сантиметр. Поджаривая колбасу, я несколько ее не додерживал и, подбавив кипятка, прикрывая сковороду, тушил свое блюдо. Мои товарищи клялись, что в жизни они не ели ничего более вкусного. Успех кружил мне голову, и я, возгордившись, всякий раз заявлял, что будь у меня продукты, я бы изготовил мировой обед. И я перечислял фантастические блюда из меню этого мифического обеда. Продуктов у меня не было, приходилось верить мне на слово. 16 марта, на шестые сутки нашего пребывания в Гольчихе, мы доели последний кружок колбасы.

За эти шесть суток наш быт в зимовке утрясся, и я себя чувствовал так, как будто живу здесь по крайней мере год. В течение дня каждый из нас по десять, по двадцать раз выходил из избы в сени и, открывая дверь, озирался, разведывая погоду.

— Ну, как? — встречали разведчика неизменным вопросом остальные.

— Туман... Берег закрыт.

Впрочем, было бы неправильно думать, что все это время в Гольчихе стояла одна только туманная погода. Далеко не так. Первые четыре дня вокруг нас хозяйничал поземок, непрестанно поддерживавший низовую метель. Он с визгом и улюлюканием катался по Шайтан-горе и, спрыгивая вниз, мчался по снежной поверхности залива, выдувая заструги и образуя сугробы. Низкие сплошные облака почти вплотную придвинулись к земле.

Я встречал немало жителей Севера, считавших строганину чуть ли не пищей богов. О строганине мне перед отъездом в перелет рассказывал Молоков за обедом в отеле «Метрополь». Нам подали тогда на закуску замечательную нежнорозовую лососину, и Молоков разразился похвалами по адресу строганины, блюда, с которым знакомы только люди Крайнего Севера. Тогда же я услышал, что строганина готовится из сырой рыбы, не варится и не жарится, и удивлялся тому, как можно есть рыбу сырой. Теперь же мне предстояло самому вкусить эту любимую полярную пищу.

Иван Федорович Гудов взял сырую, промерзшую рыбу максун и, сделав продольный надрез, содрал с нее кожу. Рыба была твердая, как дерево. Держа ее перпендикулярно к столу, он остроотточенным ножом начал ее строгать со спинки. Мерзлые стружки бледножелтого цвета с розовыми жилками соскальзывали на блюдо, образуя горку.

Молоков тем временем, налив в глубокую тарелку уксусу, размешивал его с горчицей и перцем. Блюдо со стружками сырой промерзшей рыбы поставили на середину стола. Мы вооружились вилками.

Подцепив одну стружку и обмакнув ее, по примеру Молокова, в уксус с горчицей, я неуверенно поднес ее ко рту. Мне казалось, что сейчас я почувствую специфический запах рыбы и неприятный вкус сырого рыбьего мяса, отдающий болотом. Но ни того, ни другого я не заметил. Вернее, я не успел заметить, так как рыбья

стружка, как тоненькая льдинка, проскользнула мне в горло, оставляя во рту приятную прохладу и остроту. Но в следующую минуту я допустил тактическую ошибку, объясняющуюся, как выяснилось, моей неопытностью. Я несколько задержал вторую стружку во рту и пожевал ее, чтобы распробовать. Стружка конечно оттаяла и, превратившись в скользкую пластинку сырого рыбьего мяса, завязла в зубах, и мне пришлось ее выплюнуть под дружный смех моих товарищей. После минутного раздумья я перешительно потянулся за новой стружкой, но блюдо уже почти опустело.

Молоков и Побежимов, поддерживаемые молодыми метеорологами, так насели на свое любимое блюдо, что от двухкилограммовой рыбины не осталось ничего. Иван Федорович Гудов, вытирая губы салфеткой, пошел в кладовую выбирать еще одну подходящую для изготовления строганины рыбу. Она должна быть жирной и окаменевшей от мороза — тогда, по отзывам знатоков, она имеет несравненный вкус.

На седьмой день нашего сидения на метеостанции в Гольчихе температура воздуха резко качнулась вниз, упав до 44° ниже нуля. Но ветер несколько стих, хотя и облачность продолжала оставаться низкой и туманная дымка скрывала от глаз берега залива, лишая ориентировки на случай полета. Остров Диксон, ухитрившийся за прошлый день дать три разных прогноза погоды, в одной из своих сводок обещал на 16 марта улучшение видимости, оговорившись однако, что для этого ветер должен повернуть на западные румбы. А южный ветер, не желая поворачивать на запад, нагнал очередную партию туманов и утих.

Воспользовавшись временным затишьем, Молоков решил осмотреть аэродром, т. е. ту самую естественную площадку, которую он выискал 10 марта на Енисейском заливе для своей вынужденной посадки у Гольчихи. Я и Побежимов сопровождали его в этом путешествии.

Выйдя из помещения метеостанции, по пологому скату холма мы гуськом спустились к самолету. Вокруг его лап метель намела порядочные сугробы, достигавшие высоты нижних плоскостей. Такое впечатление, что

крылья лежат прямо на снегу. Лыж совершенно не видно — они глубоко ушли в промерзший насквозь снег.

Я шел медленно, пробираясь по острым ропакам, усеивающим поверхность залива. Сухой морозный воздух жадно врывался в мои легкие, разгоряченные от ходьбы. Моя голова была укутана теплым шарфом, оставалась открытой лишь узенькая полоска лица, там, где глаза. И когда легкое дуновение ветра касалось кожи на моем лице, ее обжигало, как кипятком. Тогда только я чувствовал всю силу мороза. Вокруг была удивительная тишина. Хруст от наших шагов звучал неестественно громко. Скользя ногами по отполированной поверхности всторошенных льдов, скрытых под снегом, мы пробирались к месту нашей посадки.

Под ногами было настолько бело, что неровности сглаживались, сливаясь в единую плоскость. Всякие тени отсутствовали. Проблуждав часа два по заливу, мы так и не нашли аэродрома, на котором приземлялись. Метель и ветры, непрестанно дувшие все эти дни, намели на площадке громадные сугробы и заструги с острыми обрывистыми краями, уничтожив естественный аэродром. Не могло быть и речи о взлете с такой изрезанной площадки. Аэродром погиб, надо было искать новый.

Возвращаясь назад, мы, сделав петлю, вышли на дальний конец холмистой гряды, подошва которой должна была быть защищенной от ветров. Мы решили осмотреть узенькую полоску залива у самого побережья, рассчитывая здесь выкроить площадку для взлета. Наши предположения оправдались — снежная поверхность здесь намного меньше пострадала от ветра. Осмотрев местность, мы выкроили здесь небольшую естественную площадку под аэродром и измерили ее, промерив шагами. Она оказалась длиной в двести — двести двадцать метров, шириной в пятьдесят-шестьдесят. При первых признаках летной погоды Молокову предстояло таким образом побить здесь, в Гольчихе, рекорды своих знаменитых челюскинских полетов, взлетев с вдвое меньшей площадки.

Всякий раз, когда я выхожу из помещения метеорологической станции, направляясь на радиостанцию, я останавливаюсь на полпути, поворачиваюсь на север, огля-

На далекой зимовке Гольчихе к нашему самолету приезжали на оленях туземцы узнать новости с «Большой земли».

дываюсь на юг, запад и восток. Повсюду земля прикрыта глубоким снежным пологом. Унылый поземок гонит обычно белую снежную пыль, подымая вьюгу. Я знаю, что можно пройти тысячи километров по окружающей тундре, не встретив живой души. Все вокруг кажется мне мертвым, безжизненным, погрузившимся в беспробудный сон. Но стоит только мне пройти сорок шагов до этой комнатки, в которой живет радист Владимир Шелковников, как происходит чудесная метаморфоза. Арктика оживает. Вот какой-то писк, словно только вылупились из яиц цыплята. Это далекий остров Белый передает свою метеосводку Диксону. Вот скребущийся шорох: Усть-Порт нащупывает волну фактории Толстого Носа, чтобы по поручению Дудинки узнать, сколько заготовлено на декаду песцов и не появились ли стада дикого оленя. Вот жалобные точки-тире. Это радист зимовки Иннокентьевской Полонский Степан рассказывает своему приятелю — радисту Гольчихи Шелковникову:

«Понимаешь, Володя, с горлом у меня совсем плохо, без операции, видно, не обойтись. А что, если попросить Молокова вывезти меня в Дудинку, в больницу?»

Но в жалобы радиста Полонского врывается настойчивый код какой-то радиостанции:

«Володя! Володя! Прекратите нытье. У меня Диксон запрашивает, почему тебя не слышно».

Это конечно Басин, радист мыса Лескин, где пять комсомольцев, посланных сюда ЦК ВЛКСМ в ответ на эпопею челюскинцев, водрузили красный флаг на первой полярной комсомольской станции в центре Гыданской тундры.

Я привык уже сразу распознавать его энергичный голос, часто срывающийся на басок. Они закадычные друзья — радист Гольчихи Владимир Шелковников, радист Лескина Абрам Басин, хотя они никогда не видели друг друга. Это не мешает им оказывать друг другу тысячи ценнейших услуг, помогать вызывать соседние станции, добровольно принимать на себя чужую передачу, лишь бы она достигла скорей места.

Эфир наполнен такими друзьями. Арктика, которая кажется мертвой, безжизненной, оживает сейчас же, как только наденешь наушники. Мыс Желания беседует мирно с Землей Франца-Иосифа. Хатанга, отстоящая на тысячи

километров от окружной Дудинки, передает последний краткий отчет счетовода Таймыртреста. Гыдо-Ямо через остров Белый делает заявку на медикаменты в Игарку. Волочанка переводит на точки телеграмму молодого ленинградского гидрографа любимой жене, и эти точки мчатся через холодный эфир, чтобы согреть сердце жены сообщением, что муж здоров, бодр и разрешает интересную проблему, от которой зависит благосостояние огромного национального округа, населенного племенами туземцев.

Вот сейчас радист Шелковников только что закончил при помощи радиста Диксона Кузнецова передачу моего разговора со Святаковым. Я уверен, что друзья Шелковникова и Кузнецова, насторожившись, слушали, что нового скажет Гольчиха о Молокове, за полетом которого вся Арктика следит сотнями незримых глаз. И друзья эти передадут сейчас же новость друзьям, и не будет ни одной точки, ни одной советской зимовки на Крайнем Севере, которая в тот же день не узнала бы, что часа полтора назад герой Советского союза В. С. Молоков искал в Гольчихе площадку для взлета взамен естественного аэродрома, уничтоженного метелью.

Каждый день, ровно в тринадцать часов, друзья умолкают, как по уговору. Точно в тринадцать часов дня московского времени выходит в эфир остров Диксон. Четко и внятно он оглашает:

«Передаем арктические новости. Год издания первый. Адрес редакции: Арктика, остров Диксон. Слушайте международную информацию и последние новости по Союзу».

Покрытая густой сетью радиостанций советская Арктика тысячами ушей слушает новости «Большой земли».

ГЛАВА VIII

Пришла пурга, хозяйка тундры! — Что такое минус 48 при ветре в десять баллов. — Я побежден в борьбе с полярной стихией. — Князь на мысе Лескина объявил комсомольцам войну. — «Дикие юраки» заводят новых друзей. — Мамонтово кладбище. — Есть погода! — Над льдами Енисейского залива и Карского моря. — Столица Арктики — остров Диксон.

Дни шли и шли — мы сидели уже восемь суток в полярной Гольчихе, выжидая погоду.

И в эти томительные дни, проведенные нами в стенах полярной зимовки, в быту, в разговорах передо мной все яснее вырисовывался облик командира нашего маленького воздушного корабля, героя Советского союза В. С. Молокова. Честный и прямой, он в беседах по любому вопросу высказывал то, что думал, называя вещи своими именами. У него были собственные понятия о чести, свидетельствующие о высокой нравственности этого сильного, мужественного человека. Он, например, считал бесчестным не выполнить слова, которое дал чукчам в Уэллене, что вывезет их собак из ледового лагеря Шмидта, и, не задумываясь ни на минуту, поставил свою жизнь на карту, совершая последний рейс на льдину специально для этого.

— Чукчу, — объяснял он мне впоследствии, — чукчу кормит собака. Без собаки чукча умрет с голода.

Когда сформировывалось звено самолетов, отправленных на помощь челюскинцам из Владивостока на пароходе «Ставрополь», ему, как наиболее опытному летчику, знающему полярные условия, предложили стать командиром звена.

Отказавшись от командования звеном, Молоков переуступил это право Каманину, войдя в звено рядовым

пилотом. Но этим он не освободил себя от ответственности за работу машин и людей в полярных широтах, и, плывя на пароходе к месту выгрузки самолетов, он в дружеских беседах поучал молодежь, как надо летать в Арктике, делая это так, чтобы никого не обидеть, не задеть ничьего самолюбия.

Один из летчиков звена, с запальчивостью юности, воскликнул во время такой товарищеской лекции:

— Ну, чего там... Мы будем на Арктике летать, как семечки лущить...

Молоков смолчал, но впоследствии, когда звено совершило свой легендарный рейс к льдине, пробираясь сквозь пургу и метели, когда моторы застывали на снегу через минуту после посадки, когда кожа лохмотьями слезала с рук от одного прикосновения к металлическим частям машины, Молоков, помогая в чем-то на одной из посадок молодому пилоту, спросил его с добродушной улыбкой:

— Ну как, парень, семечки-то лущить, оказывается, тоже не легко.

Краска стыда залила щеки молодого летчика.

Звено самолетов в составе Каманина, Молокова и Пивенштейна почти достигло уже льдины, когда произошел еще один случай, оставшийся совершенно неосвещенным в печати. Этот случай — яркий штрих, характеризующий исключительное благородство Василия Сергеевича Молокова, — имел место при посадке звена на естественной ледовой площадке. Первым пошел на посадку Каманин, и Молоков, находящийся в воздухе, заметил, что самолет Каманина, подхваченный боковым ветром, заковылял по льду, получив повреждение. Вторым на ледовую площадку сел Пивенштейн.

Молоков, сделав круг над площадкой, ясно видел, что один из находящихся внизу самолетов не сумеет больше продолжать полета. Самолет этот принадлежал командиру звена, и Молоков, знавший отлично законы воинской дисциплины, понял, что одному из двух — ему или Пивенштейну — придется остаться здесь, на льду, отдав свою машину Каманину для продолжения полета к лагерю Шмидта. Пройти такой путь по воздуху над неизведанными арктическими просторами под пристальным взглядом сотен миллионов глаз, устремленных на кучку

смельчаков, провести машину сквозь туманы, снежные метели и леденящие кровь холода, сберечь материальную часть, дрожать над каждой каплей бензина и, почти достигнув цели, остаться где-то в пути, отдав свою машину другому, который по неосмотрительности повредил самолет, — разве это не обидно!

— Я делал круги над ними, — рассказывал мне Молоков, — и думал: садиться мне или не садиться. Сяду, думаю, а он отберет у меня машину... А ему надо выбирать — или у меня взять, или у Пивенштейна. Ясно, думаю, возьмет у меня, не станет же он брать самолета у Пивенштейна... Улечу, думаю, не сяду. Мне что — право на машину я заработал, тем более, что эта посадка не входила в наш план... Делаю круги — и, понимаешь, нет, не могу улететь... Не могу оставить товарищей в беде... И улететь не могу, и сесть не могу. Отберет, думаю, у меня машину. Делаю круги, сбрасывая газ, иду на посадку...

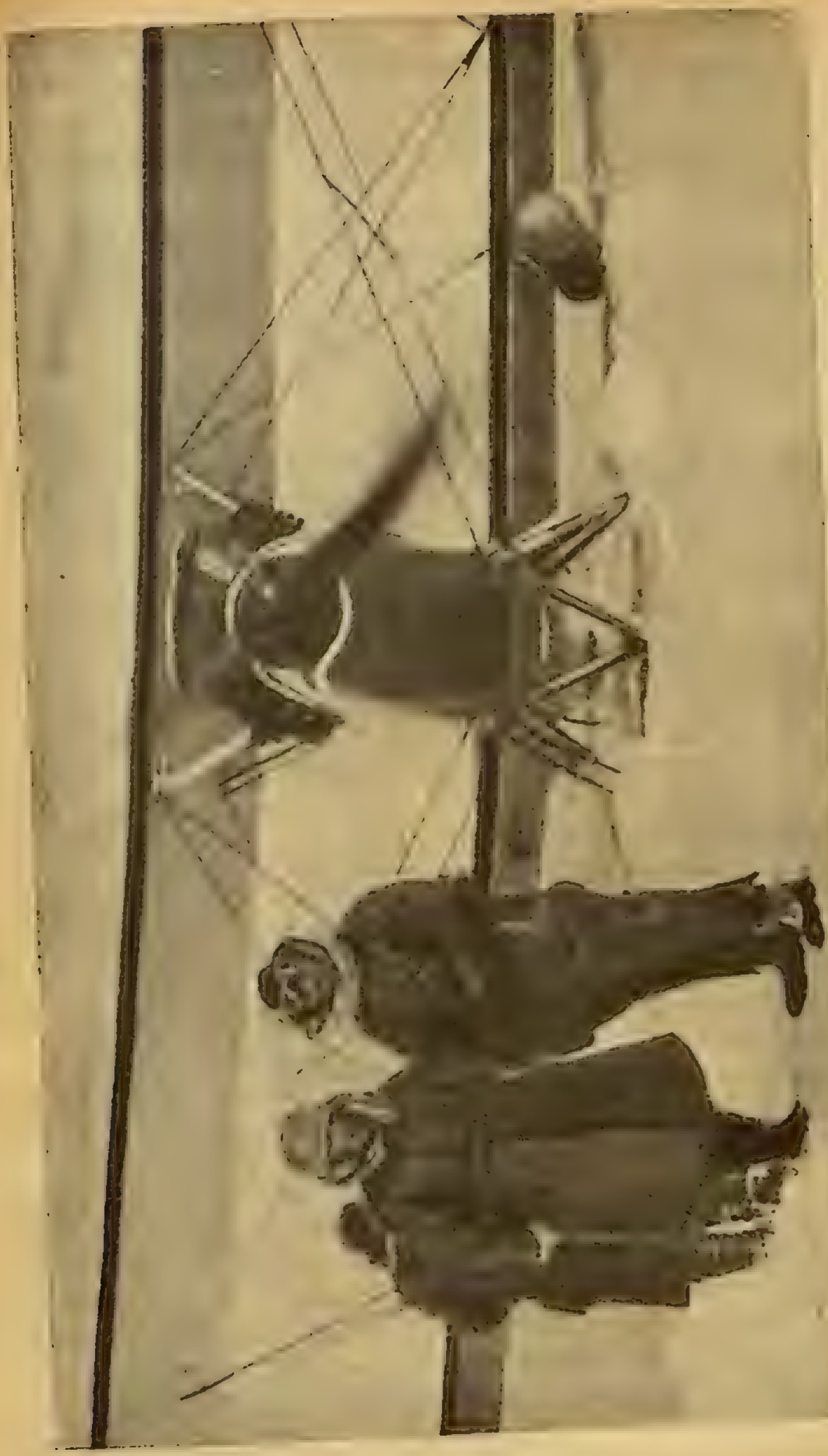
На девятое утро нашего плена в Гольчихе, 18 марта, грянула пурга.

Я встал, как обычно, около семи часов утра и, направляясь в столовую, чтобы погреться у печки, столкнулся здесь с Гудовым.

— Идет пурга, — прохрипел он, откашливаясь и выплевывая снег.

И в подтверждение его слов ветер за окном взвыл, как стая взбесившихся полярных волков, и, бросившись на толстые стены метеостанции, потряс их с такой силой, что стекла окон, покрытых слоем льда, зазвенели, как треснувшие струны. Я бросился к окну.

Надвигалась пурга. Вьюги и бураны, встреченные по пути и виденные мной здесь, в Гольчихе, в предыдущие дни, были невинной детской забавой по сравнению со снежным бедламом за окном. Барометр падал все ниже. Вглядываясь в глазок и ничего не видя, кроме тучи пляшущего снега, я с тревогой думал о том, как я пойду на радиостанцию. Дело в том, что накануне я условился о свидании с начальником зимовки на мысе Лескина Коноплевым. Свидание должно было состояться в восемь часов утра по радио, причем Коноплев обещал мне рас-



Самолет ушел лыжами в снег, проваливаясь в наледь. На первом плане Молоков и радист Зибров.

сказать много интересного о том, как живут и работают пять комсомольцев, добровольно вызвавшихся зимовать на мысе Лескина — одном из самых отдаленных пунктов енисейского Севера.

Мне хотелось хотя бы одним глазом взглянуть, что делается на дворе. Я вышел в сени и, направляясь к выходу, взялся за ручку двери. В ту же секунду кто-то снаружи с силой вырвал дверь из моих рук и тотчас же отбросил меня в угол передней, швырнув в мое лицо брызги кипятка. Я сидел, ошеломленный, на корточках в углу, потирая обожженными пальцами ошпаренное лицо. Я не соображал, что случилось. И лишь после того, как дверь вторично распахнулась и молниеносно захлопнулась, пропустив струю обжигающего ледяного ветра, я понял, что хлопья острого, обледенелого снега, которые мне швырнула в физиономию пурга, я принял за брызги кипятка. На ручке двери висели лохмотья кожи, слезшей с моих пальцев от прикосновения к накаленному холодом железу. Пурга сделала мне первое предупреждение...

Войдя обратно в спальню, я поздоровался с моими товарищами, которые, лежа, курили, прислушиваясь к звукам бушующей стихии.

— Что? Похоже, начинается пурга? — спросил меня Молоков с улыбкой.

— Пурга, да еще какая, — пролепетал я, растирая обожженный лоб.

— Я не советую тебе выходить, — произнес Молоков.

На шкале «шторм» барометр приостановил свое падение. Да и, собственно, падать дальше было некуда. По визгу ветра, сотрясавшего стены метеостанции, Иван Федорович определил, что сила его близится к десяти баллам. За чаем разговор вертелся вокруг пурги. Молоков рассказывал о том, что застигнутые пургой в тундре туземцы-промышленники крепко привязывают ремнями оленей и ложатся на нарты, укутавшись в сакуй, лицом к ветру. Умные звери — олени — следуют примеру человека, вытягиваясь на снегу. Бывает, что человек и звери лежат так, не двигаясь, по нескольку дней и нередко погибают от холода и истощения. Их застывшие, одеревянелые трупы лежат под покровом снега до июля-августа, пока случайно забредший родич не наткнется на

оттаявшие груды с черными взбухшими животами. Прислушиваясь к звукам, проникавшим в столовую сквозь толстые бревенчатые стены, я думал о тех, кого настигла сейчас пурга в пути на собачьих нартах и оленьих санках, вдали от человеческого жилья.

Пурга выла, со стоном носясь по заливу. Я одевался с большой тщательностью, готовясь сделать попытку перебежать через дорогу до радиостанции. Побежимов, наблюдавший за моими приготовлениями, сказал, в сомнении покачав головой:

— Ох и упрямый ты, чудак!.. Ну разве можно в такую погоду выходить? Ведь вслед за тобой спасательную экспедицию посылать придется.

— Здесь же, Гриша, всего сорок шесть шагов, — обиженно откликнулся я.

— Чудак ты, вот что я тебе скажу! — всердцах выговорил Побежимов. — Пойми, тут люди замерзают в пургу в двух шагах от своего дома, не находя двери.

— Я осторожно, — оправдывался я. — Попробую, не удастся — вернусь.

Я решил во что бы то ни стало добраться до радиостанции.

Выйдя в сени, я взялся за ручку выходной двери. Она не сразу поддалась моим усилиям, ветер так ее прижимал, что мне пришлось налечь на нее боком. Дверь распахнулась, и я вышел, или, вернее, вылетел, наружу. Свист, звон, гул, вой сразу ворвались в уши, несмотря на то, что они были защищены наушниками меховой шапки-ушанки, обмотанной несколько раз шарфом. Пурга швырнула мне в лицо, слепя глаза, горсть острого, как осколки стекла, обледенелого снега. Я сразу потерял из виду здание метеостанции, от которого я находился на расстоянии какого-нибудь метра, поскольку я еще не сделал ни шагу вперед. Сообразив, что я не сумею передвигаться при таком сильном лобовом ветре, я решил его перехитрить и мгновенно присел на корточки.

Я сидел, глубоко втянув голову в плечи и крепко обхватив колени руками. Это мне придавало устойчивость и большую сопротивляемость силе ветра, направление которого я хотел определить, прежде чем двинуться вперед. Но долго оставаться на одном месте было

опасно. Я поднялся, медленно вытягиваясь во весь рост. Нащупав наиболее сильную струю ветра, я повернулся к ней спиной, сделав первые два-три шага. Я шел как слепой, беспомощно растопырив руки, с которых ветер старался сорвать рукавицы, плотно застегнутые на ремешки. Ощупью я держался прямого направления, зная, что через двадцать пять — тридцать шагов я должен наткнуться на стены здания Интегралсоюза, после чего мне предстояло, держась стен, сделать пятнадцать-двадцать шагов вниз и влево, чтобы найти вход.

Порывистый шквал выбил меня из равновесия, и, качнувшись, я невольно повернул лицо против ветра. И сейчас же пурга забила острыми стекляшками снега узкую незащищенную полоску лица, полоснув кипятком по моим глазам. Это было так нестерпимо больно, что я бросился ничком на снег, обхватив голову руками. Передохнув, я стал подниматься.

Но стоило только мне вытянуться и сделать движение вперед, как пурга, схватив меня за плечи, опрокинула на спину и покатила, как картонную трубочку, вниз к подножию холма. Я молниеносно, как кошка, свернулся в комок, хватаясь за край снежной заструги. На этот раз я решил изменить свою тактику передвижения. Встав на колени, я пополз на четвереньках по снегу, втянув голову в плечи, как черепаха. Хотя с момента моего выхода из помещения метеостанции прошло не больше восьми-десяти минут, мне казалось, что я покинул его по крайней мере час назад.

Глаза мои слезились от острого ветра и холода. И влага, выступавшая на края моих век, застывала мгновенно, а слезинки, превращаясь в прозрачные льдинки, повисали на кончиках ресниц, окончательно лишая меня зрения. Я продвигался вперед наощупь, на четвереньках, тем самым способом, который на заре своей жизни применяет каждый из нас, прежде чем научится ходить. Внезапно я уперся головой в снежную стену, преградившую мое продвижение вперед.

Мои руки нащупали что-то твердое, возвышающееся над снежным сугробом. Это был угол, деревянный угол какого-то здания. Очевидно, я достиг все же цели своего пятидесятиметрового путешествия... Держась за стену снега, я осторожно зашагал вниз, огибая угол деревян-

Наш самолет на острове Диксон.

ного строения. Но сколько я ни искал, я не находил знакомых ворот, которые вели во внутренний дворик помещения Интегралсоюза. Ветер, которому надоела моя мышиная возня, мощным порывом сбил меня с ног, засыпая снегом. Встав на четвереньки, я наткнулся на деревянные ступеньки и, уцепившись за них, нащупал станцию.

Дверь раскрылась, и я вполз в какое-то помещение. Мои глаза были скованы слипшимися ледышками, и первое время я ничего не видел. Сердце бешено колотилось в груди. Сбросив рукавицы и содрав с глаз ледышки, я осмотрелся. Небольшая деревянная передняя, в которой я находился, была страшно похожа на сени метеорологической станции. Расположение дверей, ведущих в кладовую и внутренние комнаты, было точно таким же, как там. Что за наваждение! Я что-то не помнил второго такого дома в зимовке Гольчихе. Поднявшись с пола, я рванул дверь и... остановился, как вкопанный. Я стоял на пороге столовой метеостанции, той самой комнаты,

откуда я отправлялся недавно в путешествие на радиостанцию.

— Вот и он, — торжествующе произнес Побежимов.— Ну что, нагулялся?

Я смущенно озирался, не веря своим глазам. Мои товарищи хохотали, тыча пальцами в меня. Среди них находился также и радист Владимир Шелковников, который за минуту до моего возвращения домой пробрался сюда из радиостанции. Он пришел, оказывается, за мной, плюнув на пургу, по просьбе Коноплева, который нервничал в эфире, явившись на свидание в назначенный час. Шелковников тоже смеялся, весело и заразительно, не отрывая взгляда от моей головы. Я подошел к подоконнику и взял зеркальце. Из стекла зеркала на меня взглянула огромная голова снежной бабы, такой, какую лепят зимой дети в деревнях. Разница была лишь в том, что у этой снежной бабы были настоящие человечьи глаза. Снежной бабой с человеческими глазами был я...

Я сидел в теплой комнате радиста Владимира Шелковникова, слушая его ровный голос. Вторичное мое путешествие на радиостанцию, совершенное совместно с Шелковниковым, окончилось благополучно, и я прибыл все-таки на свидание с Коноплевым, правда со значительным опозданием. Шелковников, вслушиваясь в передачу с мыса Лескина, говорил:

М ы с Л е с к и н а. У аппарата начальник комсомольской зимовки Коноплев. Я слышал, что у вас сегодня пурга... У нас пурга была вчера. Это, очевидно, та же самая. Она переместилась к югу и заглянула по пути к вам... Мы узнали, что у вас мало бензина. Кажется, даже нехватит на полет до Диксона. Уговорите Молокова залететь сначала к нам, заправиться. Нальем в баки вашего самолета великолепного бензина... Накормим вас олениной, строганиной и экзотическим туземным блюдом «чилингой». Наш повар в совершенстве владеет своим искусством... Покажем вам тьму интересного...

Г о л ь ч и х а. Молокова уговаривать бесполезно. Он совершает перелет на Диксон и со своего пути никуда не свернет. У вас принято, как видно, на Арктике соблазнять бедных путешественников вкусными блюдами. То

же самое проделал уже по радио Святаков. Он вскружил нам головы медвежьими бифштексами, но — увы — мы не можем почувствовать даже их запаха на таком расстоянии... Расскажите лучше, как вы живете, что делаете.

Мыс Лескин. Наша зимовка молода так же, как ее пять обитателей. Но она имеет уже свою интересную историю. Она возникла в прошлом году после известной челюскинской эпопеи. Собственно, она является как бы ответом комсомольцев на героизм челюскинцев и организована по постановлению ЦК ВЛКСМ. При организации станции погиб у острова Сибирякова бот «Белушатник» с нашими грузами. Нам пришлось поэтому очень туго вначале.

Гольчиха. Сколько вас, комсомольцев? Занимается ли ваша полярная станция промыслом зверя? Живут ли поблизости от вас туземцы в тундре?

Мыс Лескин. Нас всего пять человек, все комсомольцы. На Севере мы впервые и очень довольны, что поехали. Здесь суровая, трудная жизнь, но она много интересней, чем на «Большой земле»... «Большой землей» мы, полярники, называем материк...

Гольчиха. Знаю.

Мыс Лескин. Что же вам рассказать? Начну по порядку. У нас замечательная упряжка — львы, а не собаки, глотают километры... Наша фактория лучше всех и раньше всех выполнила план заготовки зверя. Такова оценка, которая дана нашей работе «Арктическими известиями» по радио несколько дней назад. На нашем складе уже хранится восемьсот шкурок отборного полярного песца. Это больше, чем было нам задано... В нашем распоряжении до окончания срока заготовок еще целый месяц. Вы бы здорово помогли нам, между прочим, если бы, прилетев, забрали от нас пушнину, чтобы отвезти на обратном пути в Дудинку. Прилетайте! Даю вам слово, что останетесь страшно довольны. Поживете у нас несколько дней, съездим с вами в тундру в гости к туземцам и на промысел зверя. Кроме песца, в нашей тундре много дикого оленя. Он бродит здесь громадными стадами... Приезжайте, а?

Гольчиха. Я бы рад, да вот Молоков... Впрочем, если мы на каждой полярной зимовке проживем столько,

сколько сидим уже в Гольчихе, мы и за год не облетаем Арктику. Хотя соблазн и очень велик...

Мыс Лескин. Туземцы здесь принадлежат к племени «диких юраков». Подчеркиваю: «дикие юраки» — так они называют сами себя, в отличие от своих родичей — обыкновенных юраков. Ближайшие чумы их расположены в сорока километрах от полярной станции. Два часа хода на оленях, часа полтора на собаках... После нашего приезда мы включили их в орбиту своего влияния. Учим грамоте, ведем среди них разъяснительно-пропагандистскую работу. Это не легко. Приходится считаться с их бытом, вековыми традициями, темнотой... Представьте себе, до сих пор фактическим хозяином их рода является князек. Это очень хитрый, сморщенный, как печеное яблоко, старичок. С нами он обаятельно любезен, но ненавидит нас от всей души и ждет не дождется, когда мы подохнем... Но мы делаем вид, что ничего не замечаем, и ведем с ним любезнейшую дипломатию, откалывая от него поодиночке бедняков и середняков. Он отчаянно борется с нашим усиливающимся влиянием, запрещает членам своего рода посещать собрания, созываемые нами для разъяснений мероприятий советской власти. Он грозит им всеми земными и небесными карами, шаманствует, колдует на оленьих лопатках... Но, увы... Народ нас посещает все чаще и чаще. Каждый из нас обзавелся сердечными друзьями среди его родичей — туземцев.

Я заговорился. Надо кончать. Время истекло. Жаль, что не можете к нам прилететь. Я бы показал вам поразительные экземпляры мамонтовых бивней. В нашем районе их очень много... Мы бы поехали с вами наконец в Мачуй-Сале, что в переводе означает «Мамонтова земля». Туземцы утверждают, что под снегом в вечномерзлой почве Мачуй-Сале похоронены сотни мамонтов, трупы которых «Мамонтова земля» хранит нетронутыми посейчас... Ну, до свидания, товарищ Эль-Регистан. Кланяйтесь от нас Молокову.

Я спал на кровати, расположившись «валетом» вместе с радистом Зибревым, и мне было очень жарко. Уже несколько минут Василий Сергеевич трясет меня, стараясь

Рыбаки, зимующие на Иннокентьевской губе, спешили на Енисей к нашему самолету, который впервые в истории Арктики залетел так далеко на Север.

разбудить. Я вскакиваю, едва не столкнув с кровати своего соседа. Я без слов понимаю: пришла погода! В сияющих серых глазах пилота я читаю подтверждение правильности моего предположения.

— Скорее воду! Масло! — говорит Молоков, набивая трубку.

Сломя голову я несусь к выходу, распахиваю наружную дверь и в восхищении любуюсь открывшимся передо мною видом. Несмотря на ранний час, когда над снегами висит обычно туманная завеса, было ярко и солнечно. Идеально прозрачный воздух открывал видимость на сорок-пятьдесят километров. Простым невооруженным глазом я видел, как на ладони, невысокий мыс, вдававшийся в залив на расстоянии сорока пяти километров от Гольчихи. Вокруг было удивительно тихо. Ничто, кроме снежных заструг и сугробов, наваленных у стен зданий, не напоминало о пурге. Она ушла, умчалась ночью дальше к югу, оставив в покое Гольчиху, и хозяйничает сейчас где-нибудь на Бреховских островах, у Толстого Носа.

6

Самолет, дрогнув, покатился на лыжах по узкой снежной площадке и, с места взяв скорость, помчался вдоль холмов. Взлет был проведен классически — на восьмой секунде бега мы оторвались от земли и, сделав плавный разворот, в 7 часов 05 минут утра 19 марта легли на свой курс — норд.

Мы шли вниз по Енисейскому заливу, строго держась выработанных курсов. Была поразительная видимость. Каждое черное пятнышко, каждую трещинку льда я видел за несколько километров. Северный величественный ландшафт спокойно развертывался под крыльями нашего воздушного корабля, который, уверенно рассекая прозрачный утренний воздух, шел, оставляя позади себя извилины залива, одетого в наряд из снегов и льдов.

Вот бухта Широкая и Крестовский остров... Ефремов Камень! Я взглянул на карту и на часы. Ого! Мы экономим десять процентов времени против высчитанных курсов. Значит, бензину должно хватить до Диксона.

Горло залива расширяется все больше, предсказывая близость моря. Карское море. Вот оно открывается вдали,

залитое солнечными лучами, которые веселыми зайчиками скользят по торосам знаменитого «Ледяного мешка», погубившего многих отважных исследователей. У него сейчас такой мирный вид, у этого застывшего моря, о котором рассказано столько страшных историй в литературе, посвященной борьбе человека с силами Арктики. Огромный остров Сибирякова появляется у левого борта. Значит, скоро Диксон — конечная цель нашего путешествия-перелета.

Мы миновали каменистые громады острова Сибирякова, держа неизменный курс на север. Торосы в хаотическом беспорядке застыли у его крутых необитаемых берегов. В нашей кабине было светло и солнечно, и радист Михаил Флегонтыч Зибрев с блаженной улыбкой на устах переговаривался о чем-то с друзьями, обменивавшимися в эфире приятными речами. Я взял у него с колен тетрадку для записи полученных радиограмм — там не было записано ни слова.

— Через пять минут Диксон! — произнес радист, отмахиваясь от меня рукой.

Остров Диксон очень невелик сверху. Прямо удивляешься, как он держится в таком большом и беспокойном море, как Карское. Остров покрыт глубоким снегом, но в отдельных местах наворочены острые скалы, которые влезли друг на друга, зорко оглядывая застывшую поверхность моря.

Мелькнуло громадное здание зимовки, и остров стал закрывать горизонт. Молоков, выравняв машину, стремительно понесся навстречу земле.

Самолет рулит по снегу, направляясь к центру великолепного снегового аэродрома с воздушной «колбасой» и опознавательной буквой «Т». Уцепившись за крылья машины, бегут зимовщики. С возвышения, на котором расположено центральное здание зимовки, горохом сыплются черные точки людей и пушистыми клубками катятся своры собак, запряженных в нарты. Ура! Мы на Диксоне — перелет завершен.

Вокруг нас суетятся радостные зимовщики. Святаков, плотный блондин с громовым голосом, так сжимает мою руку, что я прыгаю, как подстреленный, по снегу. У четырех собачьих нарт сидят, повизгивая от волнения, пушистые белые с черным псы. У них острые — полулисьи,

полуволчьи — мордочки, треугольные сторожкие уши и очень пушистые хвосты. Они в наряде северных зверей, и если б не глаза, в которых теплится ум и чисто собачья преданность человеку, этих псов можно было бы счесть за помесь волка с песцом и лисицей.

Зимовщики окружили Молокова. Так было везде и так должно было быть и здесь. Ведь, достигнув Диксона, он вписал новую страницу в историю борьбы человечества за освоение суровой Арктики. Молодец! С каким упорством, с какой выдержкой ждал он летной погоды в Гольчихе и, дождавшись, скромно, без трескотни и шума, пробился через льды Енисейского залива и Карского моря к маленькому затерянному острову.

Я смотрю, запрокинув голову, на мачту радиостанции. На Диксоне самый северный в мире радиоцентр, расположенный на 73,3° северной широты. Мощность радиостанции позволяет ей не только обслуживать всю советскую Арктику от Мурманска до острова Врангеля, но и иметь по радиотелефону связь с любым городом Советского союза, связанным телефоном с Москвой.

Я выбрасываю из грузовых «бомб» пачки газет, книг, почту, посылки. Зимовщики жадными глазами впиваются в туго перевязанные бечевой пачки писем. Письма! Их больше всего интересуют письма с материка, где у каждого остались родные и друзья. Десятки рук грузят привезенные нами посылки, газеты и почту в собачьи нарты. Я сел верхом на нарты поверх багажа. Каюр прикрикнул, собаки с нервным лаем помчались в гору, вздымая снежную пыль.

Мы не успели переступить порога главного помещения зимовщиков Диксона, как старший радист вручил Молокову кипу телеграмм. Верхняя телеграмма, полученная ночью из отдаленнейшей зимовки Гыдо-Ямо на Гыданской губе, гласила:

«Остров Диксон. Молокову.

На зимовку доставлено несколько рыбаков, заболевших цынгой. Один в тяжелом состоянии. Не имеем ни медикаментов, ни врача, рассчитываем на вашу помощь...»

Молоков протянул мне телеграмму.

— Спрячь в карман, — произнес он тихо.

— Мы через полчаса вылетаем обратно в Дудинку, —

сказал он громко начальнику острова Святакову, который хлопотал около стола, уставленного яствами.

— Как, в Дудинку?! — вскрикнул Святаков.

В дверях столовой застыл повар в белом колпаке, он нес к столу лагерь Шмидта, изготовленный из сахара и сливочного масла. Над сахарными торосами висела миниатюрная модель молоковского самолета, идущего на посадку...

ГЛАВА IX

Топор-Нога, сын тундры. — Вожак собачьей упряжки вцепился в белого медведя. — Пятый пассажир на борту самолета. — Встреча над Бреховскими островами. — Где мы находимся? — Куяко Силкин чертит на снегу карту. — Удар слева на одиннадцатой секунде. — Радист Зибрев вылетел из разбитого самолета. — Воздушное путешествие прервано.

Весть о том, что Топор-Нога бродит опять по северным широтам, пришла, как обычно, в середине полярной ночи. И хотя здесь одно человеческое зимовье отделено от другого сотнями километров свирепых снегов и буранов, однако еще в Усть-Порту мы узнали, какой масти была мохнатая лошаденка, на которой Топор-Нога перебрался через заваленную льдами реку Хантайку, на чьих оленей пересел он в низовой тундре, чтобы краем ее добежать до Толстого Носа, чем, кроме сушеной рыбы-юколы, подкармливает Топор-Нога вожака своей знаменитой собачьей своры, который повел его нарту к скованному льдом Карскому морю, оставляя кровавый след израненных лап на торосах.

Топор-Нога знал здесь всех, и все знали Топор-Ногу. Он мог назвать по имени каждого новорожденного в любом из племен, кочующих на огромной территории между Пясиной и Хатангой. Его тискали в могучих дружеских объятиях в самых далеких чумах — жилищах — на побережьи моря братьев Лаптевых. Валясь на корточки, прямо на хрусткий снежный наст, он умел вести разговор с оленеводом о мхе-ягеле, с промышленником — о белухе. Нож играл в его руках, когда он, свежуя волка, сдирал с него шкуру, как лайковую перчатку. Сырую рыбу-строганину он ел, как бог. Она проскальзывала в его горло, не оттаивая во рту, как тоненькая ледяная пластинка.

На севере нужно много есть, чтобы не зацынговать и не ослабить тела. Метко надо стрелять. Уметь зарываться от пурги глубоко в снег. Любить собаку — друга человека. На севере сильный выживает, слабый умирает. Закон!

Кличку свою Топор-Нога получил от стариков байханского рода, когда, разжигая гостевой костер в дымном чуме, он ломал поленья одним ударом ноги. И под этой кличкой о нем давали мне справки на большом Таймырском полуострове до самого острова Диксона.

Перед своим выездом на северные широты Топор-Нога пускал обычно вперед слух. Слух выпускался из заполярного города Игарки, где в Таймыртресте работал Топор-Нога. Вручая заезжему туземцу — ненцу, долгану или юраку — мешок с сушками, сахар и чай, он говорил:

— Езжай, брат, в тундру слух пускать. В чум-местах гостевать будешь, чаю попьешь, говорить будешь, что пасти поднимать время-то пришло. Скоро-то скоро пасти поднимать надо! Много-то много песца промышлять! Казна нынче большую пособку тундре давала. Теперь песца ожидает обратно. Скоро-то скоро ожидает — так и скажи, друг, в тундре.

Заезжий юрак или долган гостюет, переезжая из чума в чум, по просторам снежной тундры. Гостевать хорошо! Ведерный чайник висит на крюке над очагом, вырытым прямо на снегу в центре прикрытого оленьими шкурами жилья-палатки. Хозяин сосет железную трубку, рассказывая гостю новости. Собаки, свернувшись в пушистый клубок, ворочая умными глазами, вслушиваются в хриплую песню, которую запоют разомлевшие от чая хозяин и гость:

Дьявол-медведь. Грузно ходит.
О-эй!
Полоз скрипит. Олень бежит.
О-эй!

А слух о начале охотничьего сезона тем временем побежит по тундре быстрей, чем легконогий олень. И тогда промышленники повезут приманку — накраху — к пастям-ловушкам, заготовленным с лета, и поднимут, настораживая, тяжелые бревна-давки, несущие смерть зверю с драгоценной белой и голубой шкуркой.

Вскоре вслед за слухом поедет Топор-Нога — это

знают все. Он будет быстро ехать на собачьей нарте с приторочённым к ней чехлом, с ружьем, припасами и кормом для собак. Он будет кричать хриплым от табака и простуды голосом:

— Та!.. Та!.. Та!.. Та!..

И собачья нарта устремится влево.

Он воскликнет:

— Подь!.. Подь!.. Подь!.. Подь!..

И свора дружно повернет направо.

Он протяжно скажет:

— То-о-о-о-о-о!..

И знаменитый вожак собачьей своры остановится как вкопанный и, визжа от волнения и любви к Топор-Ноге, слижет красным горячим языком повисшие на шерсти сосульки. А Топор-Нога, отдохнув и накормив собак, закутается плотнее в свой меховой сакуй, сядет в нарты, взглянет на компас и помчится дальше, оставляя позади себя 70-ю, 71-ю, 72-ю и 73-ю северные широты.

Ему тридцать четыре года, у него серые глаза, и он не пользуется услугами ямщиков-каюров или проводников с той ночи, как поседели совсем волосы на его голове. А поседели они на сорок шестом дне пути в Авамо-Хатангской тундре. Сюда завез Топор-Ногу несколько лет назад олений ямщик-долган по имени Мунка. То ли от жуткого безмолвия полярной ночи, то ли от воя пурги, бушевавшей семь суток кряду, ямщик неожиданно сошел с ума. Эти семь суток, не смыкая глаз, провел с сумасшедшим ямщиком Мункой в тундре, один-на-один, Топор-Нога, хитростью выманивая у буйно помешанного топор, с которым он кидался на седока.

Топор-Нога делал на нарте зарубку сто двадцать шестого дня своей езды, когда мы встретились с ним. Это было почти там, где 74-я северная широта пересекает 80-й меридиан по Гринвичу. Сделав две тысячи четыреста километров, он возвращался с островов Расторгуева и Сибирякова. Его догнал шторм во льдах Карского моря, и он трое суток высидел с собаками в расщелине торосов, свалив ночью метким выстрелом в лоб громадного полярного волка.

Вожак его знаменитой собачьей упряжки, выследив белого медведя ростом в восемнадцать меряных четвертей, острыми клыками вцепился в зад зверя, и медведь

сидел на льду, ревя от боли и неуклюже размахивая лапами, пока Топор-Нога не посадил на мушку его сердце. Попутно между делом, на стоянке, Топор-Нога поймал в капканы пару-другую песцов, продемонстрировав перед промышленниками-зимовщиками класс свежевания шкурки по международному стандарту.

В день, когда мы встретились, Топор-Нога, закончив организацию большого пушного обоза с островов Карского моря, вихрем примчался на собаках в Диксон. Это был первый обоз на Арктике, и он носил имя Сталина. Топор-Нога обнялся с Молоковым, которого он не видел два года, долго тряс руку Побежимову, которого знавал лет пять-шесть, а может и семь, и, отозвав меня в сторону, по секрету спросил:

— Это правда, что в Москве человек может спуститься под землю на поезд по лестнице, не шевельнув ногой?

Получив утвердительный ответ, Топор-Нога грузно зашагал к нарте, у которой, навострив сторожкие уши, сидела его знаменитая собачья упряжка, снял с саней рюкзак с вещами, ласково потрепал по шее вожака и, отдав последние распоряжения туземцу, сопровождавшему его, возвратился к нам. Это было на аэродроме на острове Диксон. Топор-Нога получил здесь телеграмму-молнию, вызывающую его обратно в Игарку, и Молоков согласился подбросить его до Дудинки, куда возвращались мы в тот же день. На нашем самолете таким образом появился пятый человек по имени Топор-Нога.

Перед тем как приступить к описанию событий, нежданно нагрянувших на нас между 70-м и 71-м градусами северной широты, я хочу точно зафиксировать некоторые часы и минуты.

Итак, 19 марта в 7 часов 05 минут утра по московскому времени лыжи нашего самолета оторвались от естественной площадки, выбранной нами для взлета из Гольчихи. Мы легли на свой курс—норд. Была прекрасная солнечная погода.

В 8 часов 10 минут утра с левого борта открылся вид на пустынный остров Сибирякова.

В 8 часов 30 минут показался остров Диксон. Он был до смешного мал сверху, но Молоков уверенно нащупал

его белые очертания среди однообразного снежного ландшафта и закружил над строениями, из которых как булавочные головки, высыпали зимовщики.

В 8.40, вылезши из кабин, мы обменивались дружескими рукопожатиями с обитателями острова, и вскоре я уже раздавал зимовщикам долгожданные письма от родных и близких с материка, называемого здесь, на Арктике, «Большой землей».

В 9.35 начальник острова Диксон Святаков поднял рюмку коньяка в честь Молокова, и в ту же минуту повар внес в комнату шипящие медвежьи бифштексы.

В 11 часов на аэродром на собачьей нарте примчался Топор-Нога. В 11.25, сделав прощальный круг над Диксоном, мы пошли в обратный путь, имея намерение в тот же день до наступления темноты достичь Дудинки, чтобы, взяв там врача, срочно доставить его на зимовку Гыдо-Ямо, где имелось несколько цынготных больных. Ничто не предвещало ухудшения погоды: солнце сияло так же ярко, небо было таким же голубым и в прозрачном воздухе царила изумительная видимость. Миновав остров Сибирякова, мы вошли в Енисейский залив и в 13 часов 10 минут, т. е. через 1 час 45 минут после вылета с Диксона, достигли Иннокентьевской губы. Здесь у нас была намечена посадка для вручения зимующим рыбакам почты и газет.

Посадка и взлет на естественной ледово-снежной площадке Енисея прошли блестяще. Раздача писем и газет отняла ровно двенадцать минут, и в 13.25 мы уже были в воздухе, взяв курс на юг.

На двадцать девятой минуте полета в районе злополучных Броховских островов самолет внезапно врезался в туман. Он словно выскочил снизу, встав стеной перед носом машины, рассекающей воздух со скоростью двести—двести десять километров в час. Я немедленно засек время и через окошечко, соединяющее меня с Молоковым, взглянул на альтиметр. Он показывал высоту пятьсот метров.

Туман густел, видимость окончательно исчезла, минутная стрелка часов ползла с убийственной медлительностью... Пять минут... двенадцать минут... пятнадцать минут полета в сплошной беловато-серой пелене тумана.

В 14 часов 11 минут, заметив, что капли влаги, оседаю-

дей на крыльях самолета, замерзают, грозя обледенением машины, я вновь взглянул на альтиметр. Он показывал сто метров. Молоков шел осторожно, убавив газ и вглядываясь вниз и влево. Но ни внизу, ни влево, ни вправо не было ничего, кроме густого и зловещего тумана, не предвещавшего ничего доброго ни самолету, ни его пассажирам. Вспомнив о том, что между московским и местным временем четыре часа разницы, я отметил в своей памяти, что до темноты осталось только полтора часа.

Через целлюлоид окошка я пристально вглядываюсь в спину Молокова, обтянутую желтой кожей комбинезона. Воротник поднят, как всегда, и туго обвязан шарфом. Голова неподвижна. Все, как обычно. Но я чувствую, что он в напряжении, он настороже, он весь подобран. И неудивительно: вести в таком тумане, на такой высоте машину — дело страшное. Даже тогда, когда чуть-чуть пасмурно, в этих местах белая поверхность земли сливается с белым горизонтом, и можно вляпать самолет в землю, думая, что это все еще небо. А каково итти сейчас в тумане, похожем на грязноватую вату, на высоте ста метров, памятуя, что выше этого машину подстерегает обледенение?

На двадцать пятой минуте слепого полета туман стал медленно, нехотя редеть. Но еще трудно было разобраться, что творится внизу, так как в редких неясных «окошках», открывавшихся для наблюдения над землей, очертания ее были очень неясны и сливались с туманом, образуя единое целое. Стрелка альтиметра показывала свои сто метров, и хотя Молоков, убрав часть газа, несколько сбавил скорость оборотов мотора, но я все же вычислил, что мы врежемся в землю на мгновение раньше, чем механизм прибора отработает поглощенную скоростью движения самолета высоту.

В 14 часов 25 минут, через час после вылета из Иннокентьевской, туман прояснился настолько, что с высоты ста метров я мог разглядеть стелющийся внизу снежный покров. Бросив бесполезную карту и часы, я прильнул к окошку кабины, пристально изучая местность. Снег, снег и снег, тускло освещенный угасающим сумрачным днем. Тоскливое снежное безбрежье — ни горизонта, ни возвышенности, ничего, что могло бы служить ориентацией на то, где мы находимся, куда мы летим. Ни одной черной

полоски, никакой отметины, ни былинки! Только еле заметная припухлость — словно почву чуть-чуть вспучило снизу. Не тундра ли?

«Не залетели ли мы в тундру?» нацарапал я карандашом на клочке бумажки и просунул в пилотскую кабину. Ответа нет. Я опять вижу знакомую спину Молокова, поднятый воротник, туго обвязанный шарфом с обледеневшими от ветра и сырости шерстинками. Обычно неподвижная голова пилота в авиационном шлеме шевельнулась раз, другой.

Очевидно, Молоков, пронизывая даль своими раскрасневшимися от ветра и холода глазами, тоже ищет Енисей, который мы видели последний раз там, где нас поймал в ловушку предательский туман.

Мотор заревел во всю мощь своих тысяча трехсот оборотов. Корпус самолета затрясся мелкой дрожью. Машина набирала максимальную скорость в полете, и вместе с ней в мое сердце вселялись спокойствие и уверенность, что Молоков знает, куда он ведет нашу голубую птицу, с опознавательными знаками «СССР-Н-70» на крыльях, покрывшую себя славой первого зимнего перелета на остров Диксон.

— Тундра! — прохрипел вдруг осипшим голосом Топор-Нога, отпрянув от окошка.

Тундра?! Не ошибся ли Топор-Нога? Неужели мы летим в глубь тундры, где застанет нас ветер со всеми гибельными последствиями вынужденной посадки в этой мертвой полярной равнине? Мотор нашего самолета замерзнет, как обычно, за ночь, и для того, чтобы его пустить в ход, нужно залить в его нутро десять ведер кипятка и пару ведер масла, доведенного почти до точки кипения. Где и в чем мы вскипятим воду, в какой посуде согреем масло?

Черные точки, похожие на рассыпанные по снегу бусинки, мелькнули вдали. Или мне это показалось? Они все яснее выделяются на бесконечно белом фоне снежных просторов, на которые свинцовыми тенями ложатся пасмурные блики потухающего дня. Они растут, приближаются, эти черные точки, и к ним держит свой путь Молоков, без сомнения.

Под самолетом скопище каких-то рогатых зверей. Я бросаюсь к окну. Что это?

— Олени, — бормочет Топор-Нога, — не пойму только — домашние или дикие...

Стадо оленей застыло в изумлении на снегу, вздев к небу, где парит невиданная голубая птица, громадные ветвистые рога. Они прислушиваются к рокоту, идущему сверху, и, нервно поводя шеями в теплых меховых воротниках, беспокойно топчутся на месте, не зная, бежать ли им, ища спасения от опасности, или оставаться тут.

Я знаю, что в этих широтах бродят постоянно дикие олени, и предполагаю, что такое стадо привлекло внимание Молокова, введя его в заблуждение. В окошечке мелькнул какой-то черный конус, запорошенный наполовину снегом. Это напоминает юрту кочевника-туркмена или киргиза, только меньше по размерам.

Мотор резко сбавил обороты, заметно уменьшив скорость полета. Молоков низко-низко кружит над оленьим стадом, и ветвистые рога удивленно поворачиваются вслед за самолетом.

Со щегольской непринужденностью развернувшись против ветра, пилот повел самолет на посадку неподалеку от стада, вытягивая машину в воздухе в непосредственной близости от земли и выбирая подходящий рельеф. Лыжи коснулись снега, легко отпрянули, пружинясь на амортизаторах, и побежали по насту. Мы на земле. Где мы?

Молоков поднимается с сидения, разминая затекшие ноги. Я открываю дверцу и, выпрыгнув вместе с Топор-Ногой на снег, озираю местность. Снег... снег... Снег и больше ничего — ни травинки на этой хмурой, снежной равнине.

— А ну, Топор-Нога, — произносит Молоков, — ищи языка, узнавай, где мы.

— Раз есть олени, найдется язык, — отвечает Топор-Нога, направляясь в сторону мелькнувшего в окошечке, но таинственно исчезнувшего конуса палатки. Но он не сделал и пятидесяти шагов, как на снегу выросли две фигуры, закутанные с ног до головы в оленьи шкуры.

Я внимательно рассматриваю приближающихся к нам незнакомцев. Мой взгляд устремляется к их ногам, обутым в необычную, невиданную мною никогда обувь. На них меховые сапоги, которые в нижней своей части,

обычно имеющей форму человеческой ступни, обрамлены громадными копытами из оленьей шкуры. Сходство с копытом настолько велико, что, если не поднимать глаз, кажется, что по снегу на тебя двигается какое-то допотопное чудовище полярных широт, которое, скользя по хрусткому насту, продвигается, не проваливаясь в снег. С колен обладателей громадных оленьих копыт свисали металлические украшения, стянутые на лодыжках подобием ошейника из полированной меди. Теплые оленьи парки защищали их тела от арктических холодов. Голова, как в гнезде, помещалась в белом меховом капюшоне, увенчанном коротким султаном пушистого оленьего хвоста. Из капюшонов выглядывали широкие скуластые лица с узенькими щелками глаз, в которых одновременно светилось и добродушие и восторг дикарей. Его не преминул выразить первый из подошедших к нам незнакомцев, который, ткнув пальцем в сторону работающего на месте самолета, на ломаном русском языке сказал, что он никогда в жизни не видал такую большую птицу, с таким сердитым голосом. Его не интересовали совсем люди, вылезшие из брюха этой птицы, и он готовился влезть под вертящийся пропеллер, но Топор-Нога, с силой потянув его за рукав парки, усадил рядом с собой на снег. Второй присел сейчас же на корточки.

— Говорка есть, — сказал Топор-Нога, открывая традиционный тундровый разговор на снегу. Не дожидаясь законных вопросов потрясенных незнакомцев, без которых они не способны были ни на какие разговоры, Топор-Нога на несложном лексиконе объяснил, что это не птица, а машина с птичьими крыльями и прилетела сюда из самой Москвы. Москву, как и следовало ожидать, оба они знали и защелкали в изумлении языками и затрясли головами, минут пять повторяя:

— Оу!.. Оу!.. Из Москвы-то? Оу!.. Оу!..

Из первых же вопросов выяснилось, что незнакомцы принадлежат к племени ненцев (они сказали «из диких ненцев») рода Силкиных. Они братья; одного зовут Куяко, другого Бакуля. Оленеводы и промышленники песца. Установив их национальность и имена, Топор-Нога повел с ними разговор с длинными отступлениями и паузами, которые по полярному этикету были непре-

менной принадлежностью каждого «говорка» на снегу, Все мы, во главе с Молоковым, торопили Топор-Ногу, чтобы он поскорее приступал к сути дела и узнал, где находимся мы в данную минуту, в частности; в каком направлении надо искать потерянный в тумане Енисей. Однако нам пришлось ждать, набравшись терпения, так как после того, как Топор-Нога назвал свое прозвище, они сейчас же его узнали понаслышке от старика-отца и долго хлопали его по плечу справа и слева, соблюдая строгую очередь. Волей-неволей Топор-Ноге пришлось справиться, когда умер почтенный папаша братьев Силкиных. Но папаша, к несчастью, оказался жив-здоров и находился в одном километре отсюда, в том самом конусе, который представлял собой, как выяснилось, чум, т. е. жилище, ненцев Силкиных. Установление всех этих обстоятельств отняло несколько драгоценных минут.

Топор-Нога приступил к сути дела. Завертев поднятым пальцем в воздухе и ткнув его себе под ноги в снег, он спросил:

— Какой место, это место, чум-место?

Куяко Силкин, вскочив на колени, выхватил из деревянной кобуры громадный нож. Повернув его вверх лезвием, он прочертил на снегу извилистую линию и произнес:

— Енисей!

Прочертив другую линию, размером поменьше, он провел ее к Енисею и сказал:

— Максуниха!

Две маленькие змейки выросли на снегу, примкнув к этой второй линии:

— Тар-Яга! Нырей-Каку! — бросил Куяко Силкин.

Между этими маленькими змейками он рукоятью ножа пробурил в снегу небольшую дырку и изрек:

— Чум-место!

Переползши на коленях к Енисею, он на изгибе его провертел большую дыру, сказав:

— Толстый Нос.

Чуть отступя по берегу, провертел другую, несколько большую:

— Караул!

Я был потрясен. Я стоял с картой в руках, наблюдая за его действиями и удивляясь, как великолепно разби-

рается этот неграмотный, темный, выросший в тундре дикарь в окружающей местности. Карта на снегу точно совпадала с картой, которую я сжимал в руках. И извилины Енисея, и характерный выступ Толстого Носа были прямо скопированы с моей карты. Самый опытный штурман, знаток полярных широт, не нарисовал бы более совершенной схемы местности.

Было ясно, что, заблудившись в тумане над Бреховскими островами, мы, незаметно уклонившись от своего курса на юг к востоку, потеряли Енисей, пересекли в тумане невидимую реку Максуниху и, залетев в глубь тундры, совершили посадку между притоками Максунихи речками Тар-Яга и Нырей-Каку, в шестидесяти километрах от зимовки Караул и шестидесяти семи километрах от пушной фактории Толстый Нос. Не заметь Молоков стада оленей, мы продолжали бы свой полет в глубь тундры, увеличивая угол своего отклонения от курса и уклоняясь от русла реки Енисея. Мы летели бы до наступления темноты по безбрежной снежной равнине, расходуя драгоценное горючее.

Одно обстоятельство я упустил из виду. Радиостанция на борту нашего самолета держала непрерывную связь с островом Диксоном до 13 часов 10 минут дня. Как раз в это время мы садились на Иннокентьевской губе, и радист Зибрев передал дежурившему у аппарата на Диксоне старшему радисту Ходову, что мы благополучно идем на посадку, задерживаться долго не будем и, вручив почту рыбакам, двинемся дальше. После вылета из Иннокентьевской наша радиостанция внезапно умолкла. Трудно сказать, какая деталь получила повреждение, что вообще случилось с нашей радиостанцией, но факт остается фактом — тогда, когда приемник продолжал свою нормальную работу, передатчик не желал передавать от нас ни одной точки, ни одного тире. И как назло это случилось как раз в то время, когда связь для нас была особенно важной.

Михаил Флегонтыч Зибрев с обычным упорством стал методически осматривать все детали своей станции, стараясь определить, где кроется повреждение. Он сидел с наушниками на ушах, слушая настойчивые вызовы и запросы своего друга Ходова, становившиеся все более и более тревожными, разъединяя и соединяя провода, про-

Ненец-промышленник Яптуне привез из тундры шкуры песца.

верял спайки, пробовал силу тока на вольтиметр, снимал и надевал лампы без всякого видимого успеха. Эта операция длилась все то время, которое прошло с момента нашего вылета из Иннокентьевской до момента нашего приземления в тундре у оленьего стада, где он вместе с нами покинул кабину с бездействующей радиостанцией для того, чтобы принять участие в установлении нашего местонахождения.

Распрощавшись с братьями Силкиными и подарив им по коробке папирос, мы направились к самолету. За эти пятнадцать-двадцать минут нашего пребывания на земле, лыжи крепко примерзли к снежному покрову тундры. Стоял мороз в 40°. Общими усилиями, раскачивая крылья и толкая их вперед, мы оторвали лыжи и, сдвинув машину, заняли свои места.

Напомню, как мы сидели. Сидение Молокова—в пилотской кабине слева. По правую руку от него расположился, как всегда, бортмеханик Побежимов. Зибрев занимал один заднее сидение пассажирской кабины. Я и Топор-Нога были на переднем, я слева, он справа по ходу самолета. Между мной и Зибревым висела на пружинах радиостанция. Моя спина была отделена от спины Молокова тонкой фанерной перегородкой, чувствительной к каждому движению пилота.

В 15 часов 02 минуты самолет, тронувшись, пошел на старт по ровной снежной поверхности тундры, встав носом, как полагается, против ветра. Через минуту Молоков дал полный газ, и мотор, заревев как разъяренный зверь, подхватил легкий корпус нашей изящной голубой птицы, стремительно увлекая ее вперед. Пропеллер, со страшной силой рассекая холодный предвечерний воздух, поднял снежную метель. Набавляя скорость, самолет побежал по гладкому снеговому покрову, как стрела, спущенная с тугой тетивы.

Прошло секунд десять, может быть одиннадцать стремительного бега, т. е. такой отрезок времени, который предшествует тому чувству, которое известно всякому, для кого полет на самолете является привычным делом. Это чувство я бы назвал чувством взлета. Я всегда чувствую мгновение взлета, этот неуловимый момент, когда самолет, отрываясь от земли, взмывается в воздух. В этот последний момент наш самолет, характер и при-

вычки которого я достаточно изучил за время своего воздушного путешествия, развивает на земле скорость сто—сто двадцать километров в час. Фактически он уже не бежит, и в то же время еще не летит, а как бы стелется по воздуху, плотно прижатому лыжами к земле.

Взлет! Удар! Сильный удар слева! Я взлетаю вверх вместе с кабиной. Сердце замерло. Мне кажется почему-то, что я падаю вместе с машиной с воздуха на землю. Я вижу свои ноги, беспомощно вздетые кверху, и в ту же секунду радиостанция, сорвавшись с пружинных растяжек, наносит мне сокрушительный удар по голове. Одновременно на мое лицо, на грудь, на плечи сыплются какие-то пакеты, железные ключи, лампочки, валенки, пачки табака.

Все это происходит буквально в секунду. Стиснув зубы, я жду грохота падения на землю, треска ломающегося самолета и своей гибели. Я успеваю заметить, что во мне нет чувства страха. Есть жгучее, какое-то болезненное любопытство ко всему, что происходит, стремление ничего не пропустить, все запечатлеть в памяти до наступления ожидаемого грохота и треска, с которым мое сознание связывает неминуемую смерть от столкновения бешено мчащегося самолета с землей.

Тишина. Вместо грохота и треска неожиданная тишина. Ее нарушает лишь шум от падения вещей, продолжающих откуда-то сыпаться на меня. Я лежу вверх ногами, упираясь в угол сидения головой и правым плечом. Меня закидало вещами, и я не могу понять, что же происходит, что же произошло с нами. Я ищу глазами своих спутников.

Радист лежит ничком, прикрывая своим телом дверцу, ведущую из кабины. Меж сидений поверх радиста валяется в неестественной позе Топор-Нога. Какие-то запасные части, лампочки, чемоданы, белье, коробки с рассыпавшимися папиросами, инструменты, конверты с письмами, тьма вещей, неизвестно откуда появившихся, покрывают нас всех. И в тишине раздается глухой, но спокойный голос бортмеханика Побежимова:

— Там ничего не горит?

Этот вопрос, как я потом узнал, был адресован Молокову, но я сейчас же отозвался:

— Нет, не горит.

Я зашевелился, пытаясь выкарабкаться и высвободить правую руку, зажатую обрушившимся радиоприемником. С усилием просунув ее к дверце кабины, я нащупал ручку и нажал. Дверца распахнулась. В нее вылетел Зибрев. Собственно, я успел только заметить его ноги, мелькнувшие в отверстие, и услышать возглас: «Ух!» и шум от падения его тела.

В отверстие посыпались вещи и инструменты. Увидев окровавленное лицо Топор-Ноги, пытающегося принять более удобную позу, я мгновенно сообразил, что удар слева, сбросивший меня с сиденья, должен был швырнуть сидевшего спиной ко мне за перегородкой Молокова лицом на авионавигационную аппаратуру и размозжить ему лоб. Я воскликнул, обращаясь к пилотской кабине:

— Молоков жив?

Молчание...

Я стоял на снегу, взволнованно разглядывая нашу голубую машину, которая торчала в такой необычной позе, воткнувшись носом в глубокий снег, прямая, как свеча. Хвост беспомощно свисал сверху. Левая лыжа, подбитая, как лапа раненой птицы, была подвернута внутрь. Сломанное шасси сместилось, пробив укосиной унылое, провисшее крыло. Щепы разбитого вдребезги винта валялись на снегу, откинутые на пятьдесят-шестьдесят метров. Предвечерняя тьма, надвигаясь с востока, мрачными тенями ложилась на безрадостный снежный пейзаж.

Я заметил вдруг, что все молчат. Взглянул на Молокова. Он был совершенно спокоен. Ветер шевелил прядь поседевших волос, выбившихся из-под шлема на его обветренный лоб. Лицо у него было вымазано сажей. Он оторвал взгляд серых, раскрасневшихся на ветру глаз от машины, оглядел вещи, в беспорядке разбросанные по снегу, и молча пошел по следу лыж в обратную сторону по пути своего старта. Пройдя метров пятнадцать, он остановился, глядя себе под ноги. Я приблизился к нему. Яма диаметром пятьдесят-шестьдесят сантиметров и глубиной около метра. Ясно отпечатанный след левой лыжи аккуратно вышел на эту, чуть-чуть запорошенную снегом и искусно замаскированную северной природой яму. Именно сюда, в эту яму, попала левая лыжа в мо-

Наш экипаж, потерпевший аварию в тундре Максунихе, прибыл на оленях в Караул, где мы были окружены сейчас же населением зимовки. Решили сняться на память.

мент, когда самолет мчался с бешеной скоростью, готовый взмыться в воздух, и машина, получившая предательский удар с торможением, пошла на «капот». «Капотом» в авиации называется, когда машину переворачивает «вверх ногами» и она падает «на спину». Глубокий снежный покров, в который врезался нос нашего самолета, не дал ему перевернуться, но это не уменьшило размеров бедствия, постигшего нас в тундре. Самолет был выбит из строя.

Капот влечет обыкновенно пожар самолета с гибелью всего экипажа. Хлещущий из баков бензин заливает огнедышащий мотор, и жадное пламя мгновенно охватывает корпус летательного прибора, превращая его в пылающий костер. Редко удается избежать при капоте пожара. Еще реже удается спастись от смерти пассажирам и пилоту охваченного пламенем самолета. И мы не избежали бы этой участи, если бы пилот, прославленный своей отвагой и хладнокровием, не успел бы выключить мотор и разъединить электропроводку в ту микроскопическую долю секунды, когда произошла самая катастрофа!

Этот факт устанавливает бортмеханик Побежимов, осмотрев приборы управления, и, положив руку на плечо своего старого друга, спрашивает, обдавая его теплом синих глаз:

— Когда ты успел это сделать, Василий Сергеевич?

Топор-Нога вытирает рукавом своей парки кровь с лица (циркуль, висевший на стенке кабины и служивший нам в пути для измерений, воткнулся в момент аварии в его лицо, едва не выколов глаза). Зибрев сокрушенно рассматривает останки своей рассыпавшейся радиостанции. Я верчу затвором «лейки», чтобы запечатлеть подбитый самолет с хвостом, вздетым к небу, разбросанные в беспорядке вещи на фоне унылого, безрадостного пейзажа тундры. Но, увы, «лейка» получила серьезные повреждения при ударе, после которого на меня обрушилась сорвавшаяся с подвесок радиостанция. Моя «лейка» выбита из строя, так же как радиостанция Зибрева, так же как самолет Молокова. Мы лишены возможности снимать, мы лишены возможности лететь, мы лишены возможности связаться с миром. Отныне мы потерпевшие крушение путешественники, заброшенные в тундру Мак-

суниху, единственными обитателями которой являются братья Силкины, люди, ведущие в этой полярной равнине жизнь, мало чем отличающуюся от жизни их первобытных предков.

Я стою на снегу с записной книжкой в руках. Я восстанавливаю в своей памяти детские, ученические годы. Я вспоминаю учителя по рисованию, который, принося в класс гипсовую голову с римским профилем, говорил:

— Сегодня мы попытаемся, дети, нарисовать профиль Марка Тулия Цицерона. Он был величайшим оратором древнего Рима.

Я вспоминаю своего учителя и вынимаю карандаш. Я дую на пальцы. Пальцы мерзнут. Ветер посвистывает на бессильно повисших тросах разбитого самолета и шевелит его хвостом. Двадцать пять лет как я не рисовал. На тундру с востока надвигается ночь...

ГЛАВА X

Совещание на снегу. — Речь Топор-Ноги. — Самолет пойман на лассо. — Олени примчались карьером. — Будда в зимнем наряде. — Красавица Амуня готовит чай. — В чуме загорелось электричество. — Ночь в тундре. — «Всем... Всем... Всем... Аварийная». — Волнение радиста Зибрева. — Молуко зовет свою команду.

Куяко Силкин первый прибежал к месту аварии. Наивный дикарь, он как ребенок радовался виду нашего самолета, торчащего хвостом вверх на снегу. Охая и приседая на корточки, он хлопал себя по коленям, гремя металлическими подвесками и топыря ноги в меховых сапогах, отороченных громадными оленьими копытами. Оживленно жестикулируя, он описывал Топор-Ноге свои впечатления, показывая, как голубая птица с сердитым голосом бежала по тундре, как она подпрыгнула, — Куяко, не удержавшись, подпрыгнул сам, — и как потом воткнулась носом в снег.

Согревая дыханием окоченевшие пальцы, я неуклюже набрасывал на странице своей записной книжки грубые контуры самолета, тщетно пытаясь передать мрачные тона окружающей нас безрадостной снежной равнины, которая тянется на многие тысячи километров по Таймырскому полуострову, подпираемому льдами и торосами Карского моря и моря братьев Лаптевых. Молоков и Побежимов отрывисто переговаривались о чем-то, стоя у поломанной машины.

Топор-Нога, подозвав к себе Куяко и его брата, с некоторым опозданием прибывшего на место происшествия, пригласил их сесть на снег рядом с собой. Они молча сидели полукругом, как на ковре, поджав ноги, и Топор-Нога, взяв на себя обязанности председателя, открыл «говорку» в тундре, вторую за этот день.

Наш друг Куяко Силкин, житель тундры, оленевод-промышленник.

Я постараюсь точно передать речь, которую произнес Топор-Нога в тундре перед двумя ненцами 19 марта 1935 года в 15 часов 10 минут дня по московскому времени, при температуре воздуха 40 градусов ниже нуля. Он говорил на том своеобразном диалекте, который употребляют туземцы — обитатели северных широт — в разговоре с русскими. Он сказал так:

— Беда-то беда пришла большая! Машина сломалась... Ой какая была машина-то! По воздуху ходила, как олень. Издалека прилетела в чум-место Силкиных машина! Из Москвы!..

Топор-Нога сделал паузу, вынимая кисет с табаком. Ненцы молча щурили узенькие щелки внимательных глаз.

— В Москве-то чумов много. Тысяча чумов-то будет, пожалуй, — произнес Топор-Нога, вопросительно поворачивая голову в мою сторону. И, не дожидаясь подтверждения, продолжал:

— А, бывал, десять раз по тысяче чумов будет!

— Тысяча чумов, — выдохнул Куяко Силкин. — Оу! Оу!..

— Десять раз по тысяче, — зашептали губы Бакули Силкина.

Топор-Нога послюнявил папироску-самокрутку и неторопливо полез под парку за спичками.

— Десять раз по тысяче чумов будет, — тоном глубокого убеждения повторил он, наслаждаясь эффектом своих слов. — И в каждом чуме-то про эту машину знают. Обратно ожидает в Москву машину советская власть. И машину, и людей ожидает обратно...

Топор-Нога поднял палец, сделав паузу, на этот раз короткую. Ненцы сокрушенно замотали головами.

— А машина-то теперь летать не может. В Москве-то не знают, какая беда пришла к Максунихе. Беда-то большая, сломалась машина. Ноги поломала, бегать не может, в воздух не пойдет. Пособку надо давать машине Куяко Силкину, Бакуле Силкину! Людям надо пособку давать скорую. Олешков надо сейчас запрягать, вещи в чум-место возить. Там сидеть будет, говорку сделает, как по тундре в Караул-место ехать поскорей. Что скажет Куяко Силкин, Бакуля Силкин? Много-то думать нельзя, темно будет, — сказал Топор-Нога в заключение.

— Говорку-то кончать надо, Москва ожидает, — ответил Куяко, поднимаясь с примятого снега.

Братья зашагали, торопливо передвигая ноги в громадных копытах, не проваливающихся в снежном насте тундры.

Они вернулись минут через двадцать на оленьих тройках. Олени мчались карьером, как кровные скакуны, запрокинув на спину неподвижные ветвистые рога. Братья, стоя на полозьях, с гортанными криками размахивали хореями — упругими двухметровыми шестами, украшенными круглым костяным наконечником.

Они привезли с собой по просьбе Топор-Ноги аркан — лассо для оленей. Куяко Силкин, взмахнув ременной петлей, швырнул лассо коротким и резким движением вверх. Петля, зашипев, как змея, обвилась вокруг костыля самолета. Мы повисли на ремне, осторожно пригибая хвост аэроплана к земле. Машина мягко шлепнулась в снег, расплющивая багажные «бомбы».

Мы выгружаем остатки вещей из кабин, собираем разбросанные по снегу радиочасти, папиросные коробки, раскиданные в беспорядке, белье, инструменты, пакеты с неприкосновенным запасом, нагружая нарты. Побежимов лязгает ключами под капотом, Зибрев отвинчивает с крыла динамку, питавшую током его радиостанцию.

Обе нарты погружены доверху, прикрыты спальными мешками и чехлом от мотора, обвязаны арканами и отправлены к чуму. Мы медленно шагаем вслед за ними, вполголоса совещаясь. Мы говорим, что прежде всего необходимо восстановить радиостанцию и передать в эфир сообщение об аварии и о том, что мы невредимы. Связи надо добиться во что бы то ни стало как можно скорей, иначе будет тревога. И она охватит Арктику, молниеносно перекинется через льды из Диксона в Москву, и вся советская страна, которая с напряжением и вниманием следит за беспримерным зимним перелетом героя-пилота, наполнится беспокойством за судьбу своих пяти граждан, отправившихся на борту самолета «СССР-Н-70» в воздушное путешествие по полярным широтам.

Я иду по тундре пешком, тяжело переставляя ноги. Не могу понять, почему я так устал. Хрустит снег. Скрипят полозья оленьих нарт. Порыв леденящего ветра приносит откуда-то издали непонятные тоскливые звуки. Не то воет полярная волчица, не то лает голодный песец, не

то плачет заблудившийся ребенок. На тяжелом, темном небе, нависшем прямо над моей головой, нет ни одной звезды.

Поднял полог, прикрывающий вход, я, согнувшись, перешагнул вслед за Молоковым через порог чума. Пытаясь вытянуться во весь свой, небольшой в общем, рост, я ударился головой о какие-то перекладины, и меня сейчас же обдало дождем липкой и вонючей сажи. Едкий дым, бросившись к моим глазам, лишил меня зрения. Дым, хлынув через ноздри, въелся в слизистую оболочку горла, вызвав приступы кашля. Я кашлял, вытирая рукавом комбинезона слезы и размазывая по лицу сажу, от которой пахло горелым рыбьим жиром. Качнувшись от сильного приступа кашля, я потерял равновесие и сел, вернее плюхнулся, на пол жилища ненцев Силкиных. Подо мной что-то взвизгнуло и отчаянно забарахталось: я сел на собаку.

Внизу дыма было меньше. Густой и едкий, он курился над костром, разведенным прямо на полу в центре чума. Собственно, слово «пол» я употребил для красного словца. Пола никакого не было. Полом для чума был снежный покров тундры. На огрызке изъеденной ржавчиной жести, служившей и очагом и печкой для отопления жилья, лежал пук сырого тальника, который не столько горел, сколько тлел, поднимая густые клубы дыма, уходившего вверх через отверстие в потолке чума. Сделанная из консервной банки керосиновая коптилка, служила лампой. Но язычок темножелтого пламени давал больше копоти, чем света. Обыкновенная стеариновая свеча показалась бы ослепительным «юпитером» по сравнению с этим прибором освещения.

Через несколько минут, освоившись, я оглядел чум и его обитателей.

Чум представлял собой классический образец жилища первобытного человека, если таковые были на полярных широтах. На шестах, собранных в конус, были накинуты оленьи шкуры, приваленные снегом. Этот чум служил бы украшением лучшего историко-этнографического музея Советского союза. Как узнал я впоследствии, старик Силкин, глава рода и почтенный папаша наших друзей

В. С. Молоков (второй слева) и Топор-Нога

Куяко и Бакули, был большим консерватором и, изъявив твердое желание умереть в той обстановке, в какой жили и умирали его деды и прадеды, категорически противился малейшей реконструкции жилища, в котором он один по закону тундры имел решающий голос.

Шесты были насквозь прокопчены, так же как стены этой неописуемой стоянки человека. На поперечных перекладинах, о которые я ударился головой при входе, висело три железных крюка на кольцах. Их можно было укоротить или удлинить, по желанию, регулируя высоту висящего на одном из них ведерного чайника, покрытого слоем копоти, имеющей, вне всякого сомнения, стаж в несколько десятилетий.

Общая площадь жилища не превышала 3,5 метра. Вокруг очага на снежный пол были накинуты невыделанные оленьи шкуры, от которых шел запах прелой кожи. По краям у стен помещалась бесхитростная домашняя утварь. Над всем этим возвышался бесстрастный как Будда, в зимнем наряде, глава рода Силкиных, неимоверно сморщенный и наполовину оглохший старик с седой, всклокоченной головой. Он сидел на коленях, равнодушно взирая, как мы, отряхая рукавицы от снега, чихаем, кашляем, утираем слезы, и раскуривая на угольке свою длинную железную трубку, набитую потрясающе крепким табаком. Раскурив трубку, он приветствовал Топор-Ногу громким голосом, каким обычно говорят люди, страдающие глухотой.

На нас он не обращал почти никакого внимания. Он осведомился о здоровьи своего старого тундровского приятеля, спросил, крепки ли его ноги и попрежнему ли они ему заменяют топор для рубки дров в чумах на гостевании; он интересовался, в хорошем ли теле знаменитый вожак собачьей упряжки, не порезал ли он себе лапы на острых торосах полярных морей в последней поездке Топор-Ноги, весть о которой неведомыми путями достигла также и тундры Максунихи; справился, каким ходом пошел нынче песец с островов на таймырские земли и что говорят промышленники на берегу Карского моря по поводу того, что не берет в этом году песец на пастях обычной приманы. О происшествии, забросившем нас в его чум, о машине он не спросил ни слова. Машина для него не существовала — и я уверен, услышав впервые в

жизни рев мотора над своей головой, он не сделал двух шагов, чтобы откинуть полог чума и взглянуть на небо.

Топор-Нога удовлетворил законное любопытство старика. В этих местах, где о всяких событиях узнают лишь от случайного проезжего, порой заглядывающего в чум не чаще, чем один-два раза в году, священная обязанность гостя — выложить хозяину все те новости, которые он везет с места своей поездки, все те слухи, которые коснутся его ушей в пути следования. Обязанность хозяина — в свою очередь поделиться с гостем последним запасом продовольствия, согреть его желудок чаем, заменить ему оленей, если они пристали, доставить лично, если этого требуют обстоятельства, до следующего чума— пусть он даже отстоит в одном месяце пути.

Пока шли церемонные переговоры престарелого Будды с Топор-Ногой, я знакомился с обитателями чума. Чум был населен густо. С главой рода Силкиных, кроме двух его сыновей Куяко и Бакули, жили пятнадцатилетняя дочь Амуня, младший сын лет двенадцати, жена Куяко и ее одиннадцатимесячный отпрыск по имени Пуава. Несмотря на холод, он лежал совершенно голый в деревянной люльке, наполовину обтянутой меховым чехлом-футляром, и, поблескивая черными глазенками, жизнерадостно сосал большой палец собственной ножки.

Итак, на трехметровой площади чума отныне предстояло поместиться: семи Силкиным, пяти потерпевшим крушение путешественникам и трем собакам. Это были пушистые лайки, черные с белыми подпалинами; они бесцеремонно лезли через людей, сидящих на полу, обращая на нас не больше внимания, чем на мешки с солью, сушками, вяленой рыбой и мукой и сундучок с утварью, сваленные прямо в кучу у стены.

Освоившись с жилищем, мы наметили план действий, который принялись проводить в жизнь без замедления. Я постелил на крохотной площади между боком Молокова и хвостами двух собак спальный мешок, на который Зибрев высыпал останки своей радиостанции. Побежимов, с удивительной быстротой освоивший ненецкий акцент, объяснял Куяко, что ему нужна доска, небольшая плотная доска для моторчика. Славящийся своим ростом бортмеханик, согнувшись в три погибели, удачно миновал люльку с Пуавой, перешагнул через его мамашу, прополз

на коленях мимо старика и, благополучно добравшись до выхода, едва не перевернул чайник, в котором Амуня топила снег, готовясь угостить нас чаем. Вслед за ним вышел Куяко, и они скоро вернулись, принеся доску, выломанную ненцем из нарты. На ней Побежимов собирался установить моторчик «Бристоль», смонтировав его с динамкой, снятой с крыла самолета.

Зибрев, бормоча что-то под нос, вставлял в приемник новые лампы. Я чиркнул спичками, освещая доску, на которой Побежимов тщательно примерял миниатюрный мотор. Молоков отмечал карандашом точки, где надо пробить отверстия для закрепления мотора к динамо. Собаки чесались, толкая ногами спину Молокова. Куяко держал доску. Пуава сосредоточенно сосал свою ногу. Его мать сучила из оленьих жил нитки. Бакуля подкладывал тальник в костер на полу. Топор-Нога испуганно прикрывал ладонью барабанные перепонки. Глава ненецкого рода Силкиных, глухой старик, истошным голосом орал над его ухом:

— Оленчик-то плохой, падучий оленчик нынче! Снегу больно много в тундре, корм тяжело копать оленчику!

Амуня мыла чайную посуду.

Она была настоящей красавицей, этот дикий цветок, выросший в дымном чуме на вечномерзлой почве тундры Максунихи, между погребенными в снегах речками Тар-Яга и Нырей-Каку. Глядя на очертания ее скуластого лица, я вспоминал о просторах монгольских степей, откуда в далекие века ушли ее предки, вытесненные на суровый Север ордами жестоких воинственных племен. Излом ее крылатых бровей и большие ноздри удивительно гармонировали с миндалевидными, чуть косящими глазами, на которые падала тень от длинных ресниц.

Волосы Амуни были черны до синевы. Они были всклокочены, как у старика отца. Амуня изредка чесала их пятерней, извлекая из запутавшихся прядей рыбьи косточки, щепки и прочий сор, обильно покрывавший ее шевелюру. Из разреза меховой одежды выглядывала полусгнившая рубашка, как панцырем увешанная медными пластинками и другими украшениями из металла до самых колен.

...Сделав перерыв в работе, мы аппетитно пили чай. Топор-Нога, дробя крепкими зубами куски рафинада,

Молоков и Топор-Нога среди ненцев, охотников фактории Толстый Нос, и их семей.

клялся, что чай дышит ароматом туберозы, тогда как от него воняло ворванью. Вместе с горячей, бурой жидкостью в мое тело вливалось приятное тепло, и чум уже казался мне уютным и удобным жилищем. «Хороши бы мы были,— думал я, — если б авария постигла нас вдали от этой первобытной хижины, которая, несмотря на все свои недостатки, все же была человеческим жильем, защищавшим нас от ветра и снегопада, внезапно начавшегося снаружи!»

Согревшись чаем, Молоков и Побежимов опять взялись за оборудование походной электростанции на доске. Гайки были плотно закручены, прижимая мотор «Бристоль» и динамо. Недоставало только приводного ремня. С помощью Куяко и Бакули я перетряхнул все содержимое двух саней с нашими вещами, оставленными на ночь за чумом, но не мог найти ремня. Приводной ремень исчез, провалился сквозь землю!..

Я возвратился с этим печальным известием в чум. Было уже около двенадцати часов ночи. Зибрев заканчивал сборку передатчика. Приемник был готов. Молоков дремал полустоя, неестественно изогнув тело, чтобы уместиться на падавшей на его долю площади 0,25 квадратных метра. Старик Силкин, раздевшись догола, кряхтя, лез в спальный меховой мешок, в который раньше него юркнул младший сын, подросток. Одиннадцатимесячный Пуава свистел носом в своей люльке, на которую мать натянула плотный чехол, герметически укупорив своего первенца Топор-Нога молча курил папиросу. Красавица Амуня наполняла чайник снегом, готовя к утру воду. Светильник мигал, коптя, как паровозная труба.

Побежимов и Топор-Нога изрезали два пояса, пытаясь соорудить приводной ремень для мотора и динамки. Ничего не выходило. Кожа поясов не обладала достаточной крепостью. Куяки, внимательно следивший за их безрезультатными усилиями, молча встал и вышел из чума. Он возвратился через минуту, держа в руках великолепный ремень, вырезанный из оленьей упряжки. Бакуля, разложив на коленях ремень, стал подшивать его с поразительным искусством оленьими жилами, орудуя иголкой и острым как бритва, ножом. Приводной ремень был готов, когда в чум вошел Зибрев.

— Ну, — сказал он, — антенка в порядке.

Ценные приборы и аппаратура, снятые в тундре с потерпевшего аварию самолета, мы привезли на оленях в Караул; а здесь погрузили на самолет.

Я приподнял полог, заменявший дверь хижины, и выйдя из чума, застыл в восхищении. Рядом с жилищем ненцев Силкиных, вокруг которого стояли занесенные снегом нарты, высились мачты радиостанции с проводами антенны, туго натянутыми на воткнутые в снег хореи — длинные деревянные шесты, которыми Куяко и Бакуля погоняли мчащихся карьером оленей. Как будто кто-то оборудовал в тундре миниатюрную модель гигантской московской радиостанции имени Коминтерна!

Ничто не нарушало мирной тишины чума, кроме повизгивания лаек, которые видели во сне оленье мясо или вяленую рыбу-юколу, что может еще сниться собакам ненцев-оленеводов, вся жизнь которых складывается из элементов еды и охраны оленьего стой-стада!

Побежимов, надев приводной ремень на валики динамки и мотора, взялся за заводной рычаг. Я взглянул на часы. 1 час 20 минут ночи по-московски, 5 часов 20 минут утра по-местному. Быстро пролетела ночь! Маленький мотор заревел неожиданно, как верблюд, взяв с места бешеную скорость оборотов. Он запрыгал, как кролик, вместе с доской, ничем не закрепленной к земле, ринувшись в сторону люльки, в которой лежал Пуава. Мать Пуавы бросилась к обтянутой чехлом люльке, чтобы грудью защитить своего отпрыска от нападения таинственного чудовища, изрыгающего дым и искры пламени, но Побежимов преградил путь мотора, придавив доску ногой. Собаки пронзительно взвыли, подняв кверху свои острые волчьи морды и выгибая спины, на которых дыбом поднималась шерсть.

Из семейного мехового мешка в костюме Адама пулей вылетел младший Силкин, затем появилась всклокоченная седая голова самого старшего в роде. Чум осветился электричеством...

Они загорелись сразу, маленькие электрические лампочки на приемнике, и хотя все они давали не больше двух-трех свечей света, но мне показалось, что через отверстие в потолке в чум нырнуло неожиданно свалившееся с неба солнце. Зрачки Амуни расширились от удивления. Маленькие лампочки отражались в ее зрачках капельками расплавленного пламени.

Куяко осторожно пощупал лампочку пальцами. Сначала на его лице появилось выражение недоумения, затем

скулы расплылись в широченную добродушнейшую улыбку.

Вся семья Силкиных тесно прижалась к радиостанции, не сводя зачарованных глаз с ярко светящихся лампочек передатчика. Даже Пуава, извлеченный ради такого торжественного случая из своей колыбели, потянулся пальчиками к электрическим светлячкам. Только старый, похожий на Будду, глава рода презрительно скользнул взглядом по машине, отвернулся, явно подчеркивая свое неудовольствие, что его драгоценный сон прервали по такой неуважительной причине. Он устремил пустой, невидящий взгляд своих водянистых глаз в закопченную стенку чума, издав несколько коротких громких звуков на непонятном языке. Голый подросток-сын, подойдя с виноватым видом к отцу, нырнул в семейный спальный мешок. Вскоре на боку мешка зашевелились шерстинки, появился палец, расширяющий дырку, и в ней блеснул лукавый черный глаз Силкина-младшего.

Я спал не больше часа, проснувшись от рычания голодных псов, подравшихся прямо над моей головой из-за остатков рыбы в консервной банке. Я не сразу сообразил, где я нахожусь. Все три поколения Силкиных мирно храпели в меховых спальных мешках. В чуме было темно, как в преисподней, и холодно.

Я здорово продрог, лежа на сыром снегу. Отчаянно ныла поясница. Хлопание, которое я во сне принял за пулеметную стрельбу, производил, оказывается, моторчик «Бристоль», работавший где-то снаружи, за пределами чума. Ощупывая руками скрюченные туловища спящих вповалку людей и стукнувшись лбом о чайник с растопленным снегом, я на четвереньках добрался до выхода.

Сгорбленный силуэт Зибрева отпечатывался на едва-едва сереющем крае пасмурного неба. Он сидел на корточках у выпряженной нарты с установленной на ней радиостанцией и, сжимая одеревяневшими пальцами ключ, посылал в эфир позывные знаки. Он не спал ни минуты и, вытащив мотор и динамо наружу, чтобы не дымить и не шуметь в чуме, сидел одиноко на холоде, пытаясь передать миру содержание клочка бумажки за подписью Молокова.

Он стучал:

«Всем всем всем кто меня слышит тчк Я радиостанция

борту самолета Молокова тчк Аварийная тчк Москва ГУСМП Шмидту Шевелеву тчк 19 марта 14 часов 40 минут московского возвращаясь Диксона районе Бреховских островов тумане потерял видимость тчк Определения местонахождения сделал вынужденную посадку тундре Максунихе тчк Взлете левая лыжа попала яму получился капот тчк Самолет выбит строя тчк Конец тчк Передал Зибрев тчк Всем всем кто меня слышит тчк Кто принял мою аварийную тчк Я радиостанция борту самолета Молокова тчк»

Он оторвался от ключа, засунув подмышки замерзшие пальцы.

— Что-то случилось в антенне, — глухо сказал он мне. — Моя передача не уходит в эфир. Десятый раз передаю одно и то же. Останови мотор, перехожу на прием.

Я выключил «Бристоль», а Зибрев, надвинув плотнее наушники, медленно завертел настройкой, выискивая в предрассветном эфире волну острова Диксона. Вглядываясь в его лицо, я нетерпеливо спрашивал:

— Ну, как? Ну, как? Слышит тебя кто-нибудь или нет?

Зибрев с досадой качнул головой.

— Нет...

Я присел на снег рядом с ним, подрагивая от холода.

— Какая это станция? — прошептал я, усаживаясь удобнее.

— Т-ш-ш-ш! — сердито зашипел на меня Зибрев, вырвав наушник из моих рук и торопливо надевая его на второе ухо. На лице его отражалось необычайное волнение. Он склонил голову набок, как это делал на самолете во время приема телеграмм, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то.

Его волнение передалось мне.

— Что? — спросил я, теребя его за рукав. — Кто-нибудь нас слышал?

— Т-ш-ш-ш! Не мешай! — отрезал он зло и сейчас же спросил торопливо: — Карандаш! Есть карандаш? Пиши!

— Есть, — ответил я, расстегивая дрожащими, неслушающимися пальцами верхний карман комбинезона, в котором хранились орудия моей профессии — записная книжка и карандаш.

— ПР-5! ПР-5! — отрывисто проговорил Зибрев, повторяя вслед за неизвестной станцией ее сигналы. — Где вы? Почему вы молчите, ПР-5? Что с вами случилось, ПР-5? Я — Диксон... ПР-5! ПР-5! ПР-5! Где вы, ПР-5! Почему вы молчите, ПР-5?

— Это Ходов, — проговорил в отчаянии Зибрев. — Ходов с Диксона. Он нас зовет, но меня он не слышит, будь она проклята!

Последнее было адресовано к антенне на хореях. Какая-то неисправность была в антенне, и она, работая на прием, ничего не передавала от нас в эфир. Зибрев, сняв наушники, пошел в десятый раз проверять провода своей радиостанции.

Я приложил ухо к круглой роговой трубке. Приятный баритон далеко-далеко, еле слышно пел под мягкое рыдание джаза:

Я поеду к чуму на шестерке оленей.
Вожжи натяну, остановив упряжку.
Она мне сменит приставших зверей,
А я подарю ей черненую пряжку...

И, разрывая слова романса на части, какая-то радиостанция настойчиво выстукивала в ночной тишине свои точки-тире. Это был Ходов, радист острова Диксона. Он настойчиво искал в эфире своего исчезнувшего друга, Зибрева. Он взывал к нему:

«ПР-5! ПР-5! Почему вы молчите, ПР-5?»

8

Светало. Туман курился над тундрой, хмуро встречавшей наступление пасмурного северного утра. Семья Силкиных пробуждалась от сна. Первыми вылезли из чума собаки, отодвигая лапами полог, заменявший дверь. Выйдя на снег, они сладко потянулись всем телом и, загнув в колечко свои пушистые хвосты, деловито побежали вдаль, чтобы выполнить свои служебные обязанности, пригнать поближе к чуму разбредшееся за ночь по тундре оленье стадо Силкиных.

Затем из чума вышел Молоков. Его лицо почернело от холода и копоти. Приветственно помахав мне и Зибреву рукой, он начал умываться снегом, втирая его в лицо. К нам шагал, растирая затекший бок, Побежимов.

Амуня кипятила чай на очаге. Старый Силкин, высунув лохматую голову со слезящимися глазами из мешка, сейчас же сунул в рот железную трубку. Куяко подал ему уголек.

Связь так и не удалось установить за ночь, и Зибрев намерезался вновь разобрать дотла и собрать и передатчик, и антенну. Коротко обменявшись мнениями за завтраком, мы выслушали решение своего командира: не позже вечера 20 марта снять с самолета мотор, все приборы и аппаратуру, с которыми утром, 21-го, выйти в путь на Караул; в этот же срок добиться связи, передав аварийный рапорт и сообщив, что экипаж невредим, в помощи не нуждается и собственными силами будет пробираться по тундре на оленях к ближайшей зимовке Караул. Однако везти мотор на нартах было невозможно. По всей тундре нет нарт, способных выдержать тяжесть нашего мотора, не говоря уже о том, что физической силы всех наличных людей нехватило бы, чтобы поднять его для погрузки. Поэтому: мотор разобрать!

Не надо знать авиационный мотор, — достаточно один раз в жизни его видеть, чтобы убедиться, что такой мотор разобрать на морозе в полярной тундре в течение одного дня — дело действительно сложное.

Кожа приставала к холодному железу, лохмотьями слезая с пальцев. Молоков и Побежимов, обдирая руки, снимали распределительные валики, вынимали шплинты, отворачивали хомутики, разъединяли от картера карбюратор, разбирали цилиндры.

Сроки были настолько жестки, что я, который не был никогда в жизни даже слесарским подмастерьем, выслушав инструкцию Побежимова, закрутил торцовым ключом. Вскоре я однако на оленьей упряжке, предоставленной в мое распоряжение Куяко Силкиным, мчался к чуму на помощь Зибреву, который один физически не мог управиться с приемом и передачей на радиостанции и запуском мотора.

Зибрев нервничал. Прильнув к приемнику, он чутко вслушивался в эфир. Полярный эфир был охвачен тревогой. Нас искали, звали, беспокойно переговаривались друг с другом радиостанции острова Диксона, мыса Лескина,

зимовок Гольчихи, Иннокентьевской, Усть-Порта, Дудинки.

Точки и тире, прощупывая воздух, точно установили, что фактория Воронцовская в 13 часов 3 минуты по московскому времени слышала далекий стук мотора, что рыбаки-зимовщики Иннокентьевской видели нас последний раз ровно в 13 часов 25 минут. Мы были живы, здоровы, машина взяла уверенный курс на Бреховские острова. Где-то здесь, между Бреховскими островами и Усть-Портом, мы исчезли...

Я удивлялся упорству Зибрева. Я уже потерял счет, какой раз он собирает и разбирает проклятый передатчик, протягивает провода и переставляет мачты своей антенны, сконструированной из оленьих шестов. Когда казалось, что передача вот-вот наладится, закапризничал вдруг мотор «Бристоль». Я изодрал все руки, дергая запускной рычаг. Маленький мотор кашлял, как простуженная кошка, но не заводился. Мое плечо ныло от рывков.

Я погрузил мотор с динамкой на оленью упряжку и повез к месту аварии самолета для экстренного консилиума с профессором Побежимовым. Осмотрев мотор, Побежимов установил, что он промерз, и дал мне инструкции отогреть его паяльной лампой.

Уже темнело и свинцовые тени, как вчера, ложились на снежный покров тундры, когда Зибрев издал радостное восклицание. Отогрев мотор и запустив его, я опустился коленями на доску, не давая прыгать нашей электростанции, и за ее шумом еле разобрал слова Зибрева:

— Есть! — кричал он. — Меня слышит остров Диксон!

В ту же минуту прискакал на оленях запыхавшийся Куяко Силкин. Он осадил мчавшихся животных в двух шагах от походной радиостанции и сообщил, что Молуко приказывает своей команде немедленно прибыть к разбитому аэроплану, грузить разобранный мотор на олены нарты. Куяко называл Молокова — «Молуко».

Зибрев, торопливо выстукав аварийное сообщение, выключил передатчик. Мы сели на нарты, облегченно вздохнув. Куяко взмахнул хореем.

ГЛАВА XI

Прощание с самолетом. — Великий шаман, покровитель рода Силкиных. — Олений поезд в пути. — Молоков на буксире Топор-Ноги. — Закон тундры в действии. — Спасательная экспедиция на курьерских собаках. — Караул! Караул!

Было темно и дьявольски холодно. Проваливаясь в глубокий снег, мы обняли корпус остывшего мотора, напрягая мускулы. Нас было семь человек: Молоков, Побежимов, Зибрев, Топор-Нога, братья Силкины и я. Сдвинув мотор с места, мы осторожно, как тяжело больного, опустили его на нарты. Куяко специально выбрал эти нарты под мотор, как наиболее прочные среди всех оленьих саней, которыми располагала семья Силкиных. Нарты крякнули, дрогнув под тяжестью груза, впиваясь тонкими полозьями в снежный наст. Густое масло, лениво выползая из картера, тягучими нитями спускалось к моим ногам.

Куяко подвел оленей к нарте. Они пугливо поводили большими печальными глазами в сторону мертвой крылатой птицы, беспомощно распластавшейся на снегу. Куяко закинул ременной поводок на бок вожатого оленей, и нарты, скрипя полозьями, медленно двинулись по направлению к чуму по темной снежной равнине.

Мы шли молча. Пройдя шагов сто, я оглянулся. Тоска охватила меня при виде темного силуэта нашей раздетой, разоруженной машины. Прислушиваясь к топоту копыт удаляющихся оленей, я вернулся обратно к самолету. Покинутый и одинокий, он лежал на снегу, как живое существо, с мольбой простирая крыло к безмолвному ночному небу. Ветер, торжествующе улюлюкая на тросах, сзывал миллионные полчища снежинок к подбитой лыже. Хвост трепетал едва заметно, издавая хрип.

Я провел рукой по полированной поверхности обтекаемого фюзеляжа, в котором помещалась кабина, служившая мне пристанищем во время воздушного путешествия. Кресла, лишившиеся изящных кожаных подушек, имели жалкий, ободранный вид. Карман из голубого шелка на дверце, в котором я держал во время полета свои записные книжки, карандаши и карту, висел пустой. Я смотрел на пробитую, провисшую плоскость, вспоминая, как под победный рев винта она рассекала воздух, паря, как гордый сокол над коварными хребтами Урала и просторами Сибири, над необъятной енисейской тайгой и суровыми льдами Карского моря. Глухой ком подкатывал к моему горлу.

Мне было невыносимо больно расставаться с этим умным созданием человеческого гения, которое сделалось жертвой пустого, нелепого случая, попав в ничтожную яму, разрытую копытом оленя в поисках корма под снежным покровом тундры.

Пройдут недели и месяцы. Пурга и штормовые ветры, расшатав скрепления и разлохматив тугое полотно на крыльях, навалят сугробы диких снегов на корпус мертвой голубой птицы. Жестокие морозы острыми ножами рассекут обшивку, разрывая дерево фюзеляжа глубокими трещинами. Обильные снегопады прикроют стройные формы тяжелым белым пологом, похоронив последние останки великолепного летательного прибора. Так он пролежит в глухой снежной могиле до конца июня.

В июне в тундру придет весна. Порывистые южные и юго-восточные ветры пригонят тяжелые облака, обильными дождями поливая хмурящийся снежный покров. Внезапная пурга, нагрянув волной арктического циклона, бросится навстречу теплым потокам воздуха, чтобы смять, опрокинуть их, вынудив к отступлению. Но весна не отступит. Она разольется журчащими ручьями по тундре, образуя проталины. Воздух, все более согреваясь, переполнится нежною влагою, и земля освободится от холодных оков полярной зимы. Первые зеленые ростки, сначала робко выглянув на свет, пышной, сочной и пестрой растительностью покроют безрадостную поверхность тундры, и полуночное солнце появится за горизонтом Тогда взлают песцы, затрещат, закудахтают самцы куропаток и бесчисленные косяки гусей с гортанным клекотом

потянутся к проталинам и озерам, ко вздувшейся водами Максунихе, к маленьким, безвестным речкам Нырей-Каку и Тар-Яга, туда, где нашел свою смерть наш самолет...

Придет весна, а с нею жизнь. Льды великого Енисея, с гулом и треском налезая друг на друга, прорвав барьеры заторов на мелях, уплывут через горло залива в Карское море. И когда могучая водная артерия заблестит под солнцем зеркальной поверхностью разлившихся вод, далеко на юге родятся рокоты. Они будут нарастать, все более и более приближаясь к 70-й северной параллели, и пересекут ее с ревом многосильных моторов, пришедших на смену тому, который повезли олени на нартах к чуму ненцев Силкиных. И летчики, водители воздушных кораблей, повернув головы вправо, устремят взгляд своих зорких глаз, одетых в прозрачную броню стекла, в тундру, где потерпел аварию их товарищ. Останки нашего самолета напомнят им о предательстве туманов, засевших над Бреховскими островами, о коварстве изменчивых погод. Руки их твердо сожмут рули и глубины и высоты, глаза зажгутся огнями неусыпной бдительности, быстрый их слух, впитывая шум работающего мотора, будет скользить по его клапанам, как пальцы пианиста по клавишам рояля.

Красавица Амуня, гремя подвесками медных украшений, заваривала чай, когда я возвратился в чум. Я спрятал в рюкзак с вещами обломок пропеллера и опознавательный знак, снятый мной на память с крыла оставшегося в тундре самолета. Растолкав локтями собак, я подсел к Топор-Ноге. Он советовался с Молоковым о том, сколько оленьих нарт нам потребуется утром для путешествия по тундре. Было решено, что с мотором, радиоаппаратурой и приборами мы 22 марта двинемся в Караул на оленях.

За двое суток нашего пребывания в чуме я свыкся с его обстановкой. Я не замечал уже копоти, лохмами свисавшей с прогнивших черных шестов; дым не казался мне таким едким; присутствие собак в жилище не вызывало прежнего удивления; грязь на чашках не трогала; даже отдающий гнилой рыбой черно-бурый чай из фамильного чайника Силкиных не производил на меня впечатления отвратительной бурды, как это было вначале. Я с огром-

ным аппетитом пил чай. Макая в горячую жидкость галеты из неприкосновенного запаса, я случайно остановил взгляд на своих руках. В них было много общего с руками Амуни. Глядя на мои руки, можно было поклясться, что последний раз я их мыл весной...

Топор-Нога, выпив четырнадцать чашек чая, вытер полой пот с лица.

— Подлей-ка, дочка, — сказал он, протягивая Амуне чашку, и, стащив через голову парку, остался в одной, прилипшей к мокрым лопаткам, нижней рубахе.

— Подлей-ка и мне и своему папаше, — продолжал он, угощая шоколадом маленького Пуаву, который голышом переползал на четвереньках по снегу от матери к деду.

Мы давно кончили пить чай. Амуня вскипятила вторично ведерный фамильный чайник, и Топор-Нога вдвоем со стариком Силкиным осушали его, рассыпаясь друг перед другом в китайских церемониях. Всякий раз, когда Топор-Нога предлагал Амуне подлить еще чаю отцу, глава ненецкого рода, одобрительно крякая, кричал громким голосом, прикрывая свою чашку сморщенной ладонью.

— Однако, может, довольно Силкину чаевать, сахару-то больно много уходит у гостей однако...

— Сахару-то у нас хватит однако,—важно ответствовал Топор-Нога. — Лей, дочка, старшему Силкину чаю. Кто знает, когда еще Топор-Ноге с ним гостевать доведется.

Старик, жуя губами от удовольствия, подавал свою чашку дочке и, выбирая самый большой кусок сахара, мочил его в бурой жидкости, отправляя целиком в свой черный и беззубый рот.

Распарившись, разомлев от сладкого чая, старик спросил Топор-Ногу, правда ли, что мы завтра покидаем чум, сделав вид, что его обижает торопливость гостей, которые так скоро уезжают из уютного, приятного чума, находящегося в их полном распоряжении.

— Хорош чум, — произнес Топор-Нога, поводя фальшивыми глазами по черным стенам грязной лачуги и незаметно подмигивая мне. — Сколько по тундре езжу, однако нет ни у кого такого знатного чума.

Лесть пришлась по сердцу главе ненецкого рода. Окончательно раздобрев, он спросил, как намерены продолжать свой путь дорогие гости, окажут ли они честь его

олешкам или поедут на машине, которая привязана к саням. Мы переглянулись: престарелый Будда наконец снизошел до упоминания о машине!

— Машина-то больная, ходить не может однако, — заорал на ухо глухому старику Топор-Нога.— Ноги поломала машина-то...

Расчесывая черными когтями грудь, старик сокрушенно помотал седой взлохмаченной головой. Он сказал, что очень обижен тем, что его друг Топор-Нога так поздно сообщил ему о болезни машины. Он высказал предположение, что ноги машины сломаны одним из трех дьяволов, обитающих в этих местах. Это или дьявол Быда-Ненту, который прячется в водах Тар-Яги и Нырей-Каку, или Сыр-Нету, дьявол, затаскивающий человеческие души во льды. А может быть даже и Сыдока-Котты, присутствие которого может заметить лишь шаман по отражающейся от этого дьявола тени. Эх, если б мы сказали об этом Силкину-старшему раньше!

Топор-Нога, подталкивая меня в бок, произнес:

— Это, наверное, был Сыдока-Котты однако. Беда, здорово ноги поломаны у машины-то! Жалко, нет шамана близко...

Старик оживился. Он предложил отправить одного из сыновей за шаманом, который живет здесь недалеко в тундре, в каких-нибудь десяти днях пути на оленях. Он мигом явится, когда узнает, что требуется его помощь.

О, этот шаман! Мало осталось в тундре стариков, посвященных в тайны его искусства. Когда наступает минута, он входит в круг сидящих. Его одеяние, из выделанной оленьей кожи, окрашено ольховой корой. Вышитое по краям волосом и бахромой, оно увешано изображениями идолов, имеющих подобие человека, зверей и птиц. Это многочисленные духи, над которыми простирается власть всемогущего шамана. На голове у него вылитая из олова шапка и на ней целый сонм духов!

Когда наступает минута, он входит в круг сидящих в меховых сапогах с медвежьими когтями. В его руках бубен, сделанный из дерева, указанного дьяволом, и обтянутый оленьей кожей. Бубен увешан медными и железными кольцами, бляхами и колокольчиками. В глубокой тишине шаман ударяет в бубен лопатой и издает протяжный крик:

— Хо-хо-го!!!

И все сидящие в чуме хором отвечают великому шаману:

— Хо-хо-го!!!

Тихо, тихо стучит лопатой великий шаман по бубну. Тихие и глухие звуки бубна наполняют таинственной силой чум, где происходит священнодействие. Учащаются удары лопатой, бубен наполняется гневом, дергается тело великого шамана. Он запевает песню.

Все чаще удары лопатой, все гневнее рокот бубна, все громче песня. Она гремит уже бурным потоком, нарастая борьбой и тревогой. Дьявол со страхом прислушивается к диким и враждебным звукам. И полет птицы, и рычание зверя, и бурное стремление вод, и стон человека находят свое отражение в песне шамана, в рокоте бубна. Великий шаман, прыгая, скачет и кружится по чуму, разражаясь глухим потоком таинственных гортанных слов.

Братья Силкины встали рано и, кликнув собак, вышли из чума. Они вернулись через час в сопровождении оленьего стада, которое сзади и с боков погоняли лайки, тявкая на непослушных животных и не давая им отделяться от общей массы. Стадо голов в триста оленей остановилось у чума. Лайки сели на снег, как часовые, поводя по сторонам острыми волчьими мордами.

Поеживаясь от холода, я осматривал стадо Силкиных. Тут были и молодые олени с бурыми рогами, и быки с черными ветвистыми украшениями на крутых, крупных головах, и нежные важенки — самки — с глазами газелей. Могучий бык с рогами, изломанными в любовных весенних боях, фыркая заиндевевшими ноздрями, разрывал передними копытами снег. Он долбил глубокий снежный покров тундры, орудуя копытом, как киркой. Добравшись до мха, он опустил морду в яму, изогнув свой окутанный теплыми мехами торс.

Братья Силкины ходили вокруг стада, сжимая в руках лассо. Они коротко взмахивали рукой, и ременная петля, прорезая воздух, выхватывала из гущи стада намеченное животное. На голову пойманного оленя тотчас надевалась легкая ременная уздечка; шея охватывалась жгутом из

оленьих шкур, заменяющим хомут. К хомуту братья Силкины прицепляли поводок, идущий от санок между ног животного. Другой конец этого длинного ремня, продетого сквозь деревянные петли у передка нарт, прицеплялся к следующему оленю. На спину левого оленя, передового упряжки, Силкины надевали широкий ремень с крючком на боку — для закидывания вожжи.

В нарты, на которых покоился мотор, братья впрягли шестерку отборных зверей; в две другие груженые нарты по пять оленей; в три остальные, для людей, — по четыре. Таким образом наш поезд состоял из шести нарт при двадцати восьми оленях.

Глава рода Силкиных, выйдя из жилища, расселся у порога на снегу. Он сидел, бесстрастный и важный, с отвислыми, морщинистыми щеками, изредка давая сыновьям указания по запряжке и погрузке. Ему не понравились чем-то два оленя из числа пойманных, и он приказал их отпустить в стадо, заменив другими.

Мы были готовы. Я простился с Амуней, оставив маленькому Пуаве плитку шоколада и банку сгущенного молока. Старик милостиво кивнул мне головой и прокричал:

— Смотри за оленчиками, Топор-Нога! Оленчики-то плохие, падучие — корма нет в тундре однако. Два аргиша проедешь, чум-место будет. Танула живет в чум-месте. Меняй падучих оленчиков на свежих однако!

Мы заняли свои места. Куяко с бортмехаником Побежимовым ехал на передней нарте, имея на буксире шестерку оленей с мотором. За ними следовали Бакуля с Зибревым и привязанной сзади груженой нартой. Шествие замыкали Топор-Нога и я, буксируя Молокова.

Куяко взмахнул хореем, издав гортанный звук. Четверка оленей, легко поднявшись в галоп, побежала по девственным просторам тундры. Я сидел, свесив ноги с легоньких санок, которыми управлял Топор-Нога, махая длинным хореем с костяным наконечником. Когда надо было повернуть налево, он чуть-чуть натягивал поводок и передовой упряжки сворачивал, увлекая за собой остальных оленей. Перед поворотом направо он притрагивался хореем к левому боку передового. Чтобы остановить оленей, надо было круто свернуть вожака влево, сильно натягивая повод. Хорей был в руках Топор-Ноги не толь-

Первым зимним рейсом пилот В. Махоткин забросил в енисейскую тайгу Д. Дебабова, сотрудника «Известий» — фотокорреспондента, который провел в тайге и тундре Заполярья четыре с половиной месяца. Он бродил с охотниками по следам песцов и приехал в Дудинку на собаках как раз в тот день, когда летчик Черевичный летел к нам в Караул. Узнав об аварии, постигшей нас в тундре, Дебабов поспешил к нам на помощь на борту самолета Черевичного. На снимке — справа налево: Дебабов, Молоков, Эль-Регистан перед вылетом из Караула.

ко орудием управления, но и орудием, регулирующим скорость хода и наказывающим ленивых и нерадивых. Топор-Нога зорко следил за тем, кто из оленей недобросовестно тянет нарту. Лодыря выдавал длинный ременной поводок, продетый через деревянную петлю. Если поводок с одной стороны удлинялся, с другой укорачивался,— это означало, что один из двух оленей, прицепленных к ремню, тащит на коротком конце поводка, помимо нарты, еще и лентяя-соседа. Хорей Топор-Ноги, мелькнув в воздухе, застывал, нацеливаясь костяной кругляшкой наконечника в круп лодыря. И вслед за тем несколько частых и метких толчков лишали виновного охоты ездить на чужой счет, выталкивая лодыря на общую передовую линию.

Топор-Нога возился со второй, привязанной к нам, нартой. Он кричал своим грубым, осипшим голосом Молокову, ехавшему на буксируемых им санях:

— Ты меня повозил по воздуху на самолете, Василь Сергеич! Теперь пришел мой черед возить тебя по земле на олешках...

Он не скрывал своего удовольствия и, поглядывая назад, бросал мне изредка, возбужденно махая хореем:

— Шутка сказать, кого везу — Молокова!

Олени временами шли шагом, проваливаясь копытами в рыхлый снежный наст, большей частью бежали рысью и галопом, держа рот открытым и хватая на ходу снег разгоряченными губами. Снежная равнина окружала нас со всех сторон, и казалось, что она не имеет ни конца, ни края.

Я никак не мог понять, по каким признакам Куяко Силкин ориентируется в местности, когда кругом — насколько хватает глаз — нет ничего, кроме пустынной тундры, погруженной в зимний сон.

Мы ехали уже пять часов подряд. Некоторые из оленей заметно устали. Чума Танулы почему-то не было. Мы остановили нарты, чтобы поправить мотор. Куяко сказал, понюхав воздух:

— Танула аргишил однако. Другой место будет чум-место Танулы.

Аргишил — это значит откочевал. Танула откочевал с чумом в другое место, но как об этом узнал Куяко, когда на девственном покрове тундры не было никаких следов,

кроме следов полозьев нашего оленьего поезда? Откуда Куяко знает, что Танула откочевал в северо-восточном направлении, куда мы сворачиваем после того, как привели в порядок нарты с мотором? Мы вспоминаем о карте, начертанной на снегу, и целиком доверяемся Куяко, который каким-то звериным чутьем выискивает в тундре невидимые для человеческого глаза тропы, большие и малые дороги, по которым столетиями аргишили ненецкие роды Силкина, Танулы и других.

...Танула, коренастый ненец на кривых ногах, обутых в широченные меховые сапоги с оленьим копытом вместо ступни, встретил нас приветственным гоготом. Он откочевал сюда только сегодня утром; шестовой чум его не был еще прикрыт шкурами, и женщины возились у нарт, сгружая имущество. Конечно, он рад видеть у себя редких гостей! Конечно, он сменит приставших оленей на свежих без отказа. Закон. Таков священный закон тундры. Но он не представляет себе, как можно отпустить приезжих, не выпив с ними хотя бы по десять чашек чая из чайника, который и по размеру, и по грязи и копоти является точной копией фамильного чайника Силкиных. Кроме того закон тундры, обязывающий Танулу к гостеприимству, требует, чтобы гости поделились своими новостями с хозяином. Но Топор-Нога неумолим.

— Говорку не будем делать однако, — говорит он Тануле. — Оленчиков-то сейчас ловить надо, скоро-скоро запрягать, Караул-место ехать торопимся.

Танула не представляет себе, как это можно обойтись без говорки, и хотя Топор-Нога клянется, что братья Силкины знают все новости и на обратном пути, остановившись здесь, расскажут их Тануле, он с расстроенным видом идет к оленьему стаду со своим лассо.

— Без говорки-то нехорошая дорога будет однако, — хитрит он после того, как свежие олени заняли место уставших. — Без говорки-то, может быть, пурга будет, а может быть, пурга не будет...

Мы смеемся, прощаясь с ненцем. До наступления темноты осталось всего три часа. Надо спешить, иначе ночь застанет в тундре и вдруг действительно нагрянет пурга!

— Тогда нам век не добраться до Караула! — кричит Топор-Нога, размахивая хореем.

Олени мчатся галопом, освежаясь снегом, схваченным

на ходу. Красные языки торчат в их раскрытых ртах. В голове нашего поезда мчится пустая нарта с шестеркой оленей, управляемых сыном Танулы. Ее Танула пустил вперед для того, чтобы она пробивала снежный наст для остальных нарт.

Скрипят полозья. Прерывисто дышат олени. Взмываются в воздухе хореи. Слышны гортанные возгласы на непонятном языке. Олений поезд потерпевших аварию путешественников идет по девственной снежной целине напрямик, к Енисею, на зимовку в село Караул. И поет Куяко, продолжатель древнего ненецкого рода Силкиных:

Большая тундра, конца ей нет!
В ней единственный чум имеется.
И в этом чуме девушка есть
С белым лицом — дочка ненецкая!
Я поеду к чуму на шестерке оленей.
Вожжи натяну, остановив упряжку.
Она мне приставших сменит зверей,
А я ей подарю черненую пряжку...

Скрипят полозья. Машет над головой хореем Топор-Нога. И легкий ветер разносит по безбрежью тундры песню Куяко, ведя ласковую говорку со снежинками.

День угасал. Вытянувшийся гуськом олений поезд рысью спускался в отлогую долину, охраняемую унылыми сопками. Однообразный снежный пейзаж тундры утомлял мое зрение. Я закрыл глаза и, открыв их через минуту, увидел впереди какой-то быстро мчащийся разорванный клубок. Я стал в удивлении протирать глаза, думая, что это мне померещилось, но клубок, приближаясь к нам, принял очертания легких собачьих нарт. Собаки мчались карьером, нетерпеливо взвизгивая и тявкая. Добежав до головы оленьего поезда, собачья упряжка встала, как вкопанная. Собаки сели на снег и взвыли как по команде, подняв кверху умные пушистые морды. С нарт соскочило двое людей, торопливо приблизившихся к нам.

— Экипаж товарища Молокова? — спросил передний.
— Он самый, — ответил Побежимов.
— А кто будет товарищ Молоков?

Оба приезжих поочередно трясли руку Молокова. Оказалось, что они из села Караул, откуда экстренно выехали на собачьих упряжках час тому назад. Два часа назад Караул получил по радио от Диксона сообщение, что самолет Молокова, таинственно исчезнувший 19 марта между Иннокентьевской губой и Усть-Портом, по сведениям, потерпел аварию в районе Breховских островов. Это известие немедленно облетело всю зимовку, и через час двенадцать собачьих упряжек, принадлежащих местным промышленникам, разлетелись в разные стороны на помощь летчику-герою. Четыре упряжки карьером понеслись к Breховским островам, имея задание обыскать бесчисленные протоки Енисея, заваленные снежными сугробами. Четыре упряжки ринулись берегами реки и четыре упряжки разбежались по тундре, твердо решив не возвращаться до тех пор, пока не будут найдены следы потерпевшего аварию самолета. Ту упряжку, которая столкнулась лбом с нашим оленьим поездом, вел Яптуне-Хасиат, знаменитый потомок долгано-ненецкого рода. Он шел на тундру Максуниху, имея намерение обыскать местность тщательно пятьсот километров в окружности.

— Вы, значит, тот самый Молоков, — произнес Яптуне-Хасиат в восхищении.

Заняв головное место в колонне, он вытянулся во весь рост на нартах и крикнул зычным голосом:

— Та! Та! Та! Та!

Собачья свора, взвизгнув, подхватила легкие нарты и ринулась вперед на Караул, подымая снежную метель.

ГЛАВА XII

Летчик Черевичный—на помощь летчику Молокову.—Прибытие нашего экипажа в столицу Таймыра — Дудинку. — Знакомство с знаменитым промышленником Егором Ивановичем Кузнецовым, участником многих спасательных экспедиций. — Рассказ о боцмане Бегичеве, открывшем остров в море Лаптевых. — Как были найдены трупы норвежцев Кнутсена и Тессена, затерявшихся во время экспедиции Амундсена. — Я расстаюсь с друзьями и возвращаюсь в Москву.

Мы с огромным удовольствием мылись в караульской бане, парясь до одурения на самой верхней полке парного отделения. Впервые за две недели мы оделись в чистое белье и, разморенные, отдохнувшие, расселись вокруг самовара, предались роскошному чаепитию. После чая я с наслаждением лег на кровать, заботливо убранную свежими пододеяльниками и простынями. Селозимовка Караул, куда мы прибыли после аварии в тундре, заблаговременно позаботилось обо всем — о теплой комнате, о бане, о чистых постелях, о белье, о еде, о питье. Нас принимали здесь, как самых дорогих и близких людей, которые вернулись в родную семью после длительных, полных опасностей скитаний.

На рассвете Молокова вызвали на местную радиостанцию. Небольшое село-зимовка, населенное двумятремя десятками русских и туземцев-промышленников, имело и почту и телеграф, связанный с внешним миром только через Дудинку. На радиостанции Молокову вручили телеграмму-молнию из Москвы. Это был ответ на аварийный рапорт, переданный Зибревым в эфир с нашей походной станции в тундре между речками Тар-Яга и Нырей-Каку. Начальник авиослужбы Главного управления Североморского пути Шевелев сообщал нашему пилоту,

Встреча Черевичного с Молоковым и Тенор-Ногей в Карауле.

что в Красноярск отдано распоряжение немедленно перегнать по воздуху в Дудинку для Молокова самолет «Р-5» летчика Головина.

Пилот сел на табурет рядом с радистом, который, принимая на-слух Игарку, простуженным голосом глухо бросал в тишину:

«...Из Игарки... У аппарата заместитель секретаря горкома... Сейчас у нас находится самолет «АНТ-6» летчика Черевичного, совершающий рейсовый полет Красноярск—Игарка—Дудинка... Летчик Черевичный готов немедленно вылететь в Дудинку и дальше в Караул для оказания помощи по вывозу вас и вашего экипажа из Караула... Подтвердите ваше согласие, также сообщите, в чем нуждаетесь... Перебросим пищу, одежду, все, что нужно, на этом же самолете... Если согласны на наше предложение, сейчас же передайте для Черевичного сводку о погоде в Карауле, состоянии аэродрома... Имеем сведения, что сегодня из Красноярска на «Р-5» вылетел пилот Головин, перегоняющий машину в ваше распоряжение...»

Радист умолк.

— Передайте Игарке, — сказал Молоков, — что я благодарю за предложенную помощь... Если Черевичный может, пусть вылетает, сейчас здесь хороший естественный аэродром и отличная погода. Головина задержите в Дудинке до моего приезда...

Я помчался во весь дух в помещение школы, отведенное нам под жилье, чтоб предупредить остальных товарищей о близком прилете Черевичного. Нам надо было отобрать из числа аппаратуры и приборов, снятых с погибшего самолета, все, что можно было вывезти с собой по воздуху с прибывающей машиной, и уложить, запаковать в ящик спасенный нами в тундре мотор, оставив его ждать в Карауле вскрытия Енисея и открытия навигации.

23 марта в послеобеденное время мы были уже в Дудинке.

Путь от Караула до Дудинки мы покрыли легко благодаря замечательной летной погоде. До вечера оставалось часа полтора, не больше, и мы решили не покидать аэродрома до прилета Головина, о проследовании которо-

го мы получили телеграммы с промежуточных аэродромов. Головин пулей вылетел с юго-запада и уверенно повел свою быстроходную маленькую машину на посадку. Вылетев рано утром из Красноярска и покрыв две тысячи сто километров в один летный день, Головин прибыл в Дудинку, установив рекорд продолжительности полета на этой опасной зимней трассе. У него имелось еще в запасе время, и, не задержи его в Дудинке телеграфное предупреждение Молокова, этот железный парняга долетел бы до самого Караула из Красноярска в один летный день!

На санях, запряженных мохнатой лошаденкой, как две капли воды похожей на конягу в Гольчихе, мы поехали с аэродрома в село Дудинку, столицу Таймырского полуострова. Обыкновенное северное село, схожее с теми станками и селами, над которыми мы пролетали, идя по Енисею от Подкаменной Тунгуски, Туруханска до Игарки. Те же дома, крепко сколоченные из толстых бревен, занесенные снегами, избы, вытянувшиеся по обеим сторонам «центральной улицы», сползающие вниз по берегу реки и взобравшиеся вверх по подножию холмов. Изб немного — всего несколько десятков, но после пустынных, безлюдных пространств тундры и зимовок типа Гольчихи, имеющих всего тройку домов, Дудинка с ее двухэтажным Домом туземца, просторными зданиями советских организаций и общежитий кажется настоящим большим городом, достойным именоваться окружным столичным центром.

Отсюда Молоков должен был, приняв на пригнанный самолет врача и медикаменты, итти на Гыданскую губу в зимовку Гыдо-Ямо. На самолете, имеющем две открытые одноместные кабины, предстояло уместиться пилоту Молокову, бортмеханику, радисту и врачу с огромным багажом в триста килограммов медикаментов.

Знаменитый охотник Егор Иванович Кузнецов, с которым меня познакомил Топор-Нога, приехал в Дудинку с отцом сорок один год назад в шестилетнем возрасте. Отец его был ссыльным, которого царское правительство загнало в эти дальние, северные места на поселение. Тогда в Дудинке было всего три дома, принадлежавших

купцам Попову, Сотникову Александру Киприановичу, по прозвищу «Лондур», и воспитаннику последнего — Константину Афанасьевичу Сотникову. Купцы имели склады и магазины и рассылали по тундре приказчиков для сбора пушнины. Главным образом заготовляли песцовые шкуры, всеми правдами и неправдами выманивая их за бесценок у туземцев, находившихся в беспросветной кабале у этих трех пауков, забравшихся из-за легкой наживы на такой Крайний Север.

Несколько позже появился в Дудинке еще один, четвертый купец — пушник Иван Прокофьевич Хвостов. Он был ловким парнем и приказчиком у Сотниковых и со временем оперился, по выражению Кузнецова, заимев собственную торговлю, дом, склад, магазин.

Но царем и богом в тундре был купец Александр Киприанович Сотников, по кличке Лондур. Он был песцовым королем, и никто лучше его не мог обдурить наивного туземца-промышленника, никто лучше его не мог опутать сетями безысходной кабалы охотника. Счет заготовляемых Сотниковым песцов велся на хвосты. Он собирал многие тысячи хвостов и шкурок зверя с пушистым волосом и экспортировал пушнину отсюда на российские ярмарки, зарабатывая громадные деньги. Здесь же в Дудинке ютились три семьи промышленников-метисов (наполовину русских и остяков) — Пановых, Ивановых и Буяновых. Семья Кузнецовых стала четвертой.

Песцов ловили на пасти. Пасть — это первобытная ловушка, устанавливаемая в тундре накрепко, на многие десятки лет. Летом, когда снег оттаивает, обнажая землю, охотник делает насыпь метра в полтора длиною, полметра шириною и набивает плотный сугроб земли высотой сорок-пятьдесят сантиметров. По обеим сторонам насыпи набиваются колышки, образуя вход в ловушку с нависающим над ней тяжелым бревном-давком. Когда зверь, войдя в пасть, берет приману — мелконарубленную рыбу, смешанную с замороженной оленьей кровью и кишками,— несложный механизм пасти приходит в движение, и тяжелый давок падает, прибив насмерть зверя. Таких пастей наставил по тундре на холмах, на песчаных берегах рек отец Егора Ивановича, он возил с собою на промысел сына, чтобы приучить его с детства к суровой жизни полярного охотника. И Егор Иванович вырос, за-

Самолет летчика Черевичного прилетел на зимовку в Караул, чтобы вывезти экипаж Молокова, потерпевший аварию в тундре. На снимке: местные охотники-ненцы слушают рассказ о приключениях в тундре Максунихе.

калился, стал лучшим промышленником на Таймыре, добывая в хорошие годы сто тридцать — сто пятьдесят песцовых шкур.

Но славу свою Егор Иванович Кузнецов заработал не этим. Слава о нем, как о лучшем знатоке тундры и участнике многих спасательных экспедиций, родилась значительно позже, после того, как он встретился с отважными исследователем Бегичевым, человеком, имя которого знает вся тундра почти до Берингова пролива.

Друга своего, Никифора Бегичева, Егор Иванович встретил в 1905 году в Дудинке. Бегичев был боцманом на судне «Заря» и участвовал в экспедиции, отправившейся в полярные воды на поиски исчезнувшего исследователя барона Толя. Боцман остался после экспедиции здесь, поселившись в Дудинке. Моряк стал промышленником, расставил пасти на песца и разъезжал по тундре, обретая друзей и приятелей среди туземцев. В одной из поездок по Хатангской тундре ему туземцы рассказали о том, что в Хатангском заливе моря Лаптевых есть не-

известный остров, богатый песцом и стадами диких оленей. Жажда исследовать таинственный остров охватила боцмана Бегичева. Весной 1907 года, захватив заезжего с магистрали парня Николая Семенова, вместе с приятелем-туземцем, хатангским якутом Диомидом Уксусниковым, Бегичев ушел на оленях в указанном туземцами направлении, перешел по льду залив и действительно разыскал громадный остров, названный островом Бегичевым. Исследователи провели здесь лето, питаясь дичью, в огромном количестве населявшей пустынный остров, и с наступлением осени при помощи туземцев Хатангской тундры, предоставивших отважному боцману олений транспорт, благополучно возвратились в Дудинку.

Отсюда боцман послал письмо о своем открытии в Петербург, в Академию наук. Академия предложила Бегичеву детально обследовать остров, измерить для нанесения на карту. В следующем году Никифор Иванович Бегичев организовал целую экспедицию на вновь открытый свой остров. В экспедицию, возглавлявшуюся им, помимо Семенова и якута Уксусникова, Бегичев взял промышленника Кузнецова и плотника Ефима Горкина. Взяв небольшое количество продовольствия, экспедиция накануне весны 1908 года вышла из Дудинки и после $2^1/_2$-месячных скитаний по тундре достигла острова Бегичева. Бухты Хатангского залива были забиты плавниковым лесом, который обнажался по мере таяния льдов и снега. Исследуя остров, Бегичев и его товарищи открыли здесь несколько рек, назвав их своими именами. Живя в палатке, Бегичев, Уксусников и Кузнецов делали вылазки в глубь острова, натыкаясь на громадные стада оленей. В мае сюда прилетели неисчислимые косяки гусей. Пока плотник Горкин с помощью Семенова, несшего обязанности повара экспедиции, строил одну комнату с сенями и маленькой баней, Бегичев, Уксусников и Кузнецов расставляли по острову пасти для зимнего промысла песца и охотились на оленей и гусей, заготовляя запас мяса на зиму. В разных местах они расставили промысловые балаганы для укрытия в непогоду во время зимнего промысла.

Экспедиция привезла с собой на остров двадцать пять ездовых оленей. Неприхотливые тундровые звери — олени — почти не требовали заботы и ухода. Они добывали

Перед вылетом из Караула. На втором плане самолет Черевичного.

сами себе корм, подобно своим диким четвероногим собратьям, которых стреляли наши охотники. К осени экспедиция имела уже семьдесят пять туш оленьего мяса. Но сахару и табаку было немного, а с хлебом назревал беда. Мука кончалась, и в разгар песцового промысла в декабре начальник экспедиции Бегичев предложил своим товарищам отправиться вместе с ним на оленях на реку Анабуру, против бухты Нордвика, к якутским кочевьям, у которых всегда крутились купцы, скупающие пушнину и меняющие ее на хлеб и другие припасы.

Песца было добыто много — девственный остров кишел песцами.

Погрузив на нарты мешок пушнины, выделенный для обмена на муку, исследователи двинулись в путь на ездовых оленях. Они подошли к реке Кузнецовой, но тут нагрянула пурга. Пытаясь вернуться обратно на свою зимовку, путешественники забрались в пути в один из балаганов, выжидая погоду. Пурга бушевала трое суток подряд. Когда силы арктической стихии несколько утихомирились, Кузнецов вышел из балагана и обнаружил

пропажу оленей. Бегичев, Кузнецов и Уксусников отправились в разные стороны искать своих ездовых зверей. После целого дня поисков в верховьях реки Кузнецов наткнулся на трех оленей. Они были совершенно загнаны и замучены, точно кто-то проехал на них карьером сто километров. Кузнецов пригнал оленей к балагану.

Наутро, впрягши оленей в нарты, Кузнецов и Уксусников опять отправились на поиски зверей. Не прошли и пяти-шести километров, как олени пали. Пошли пешком и вскоре обнаружили на снегу труп дикого задушенного оленя. Шагах в ста от него валялся второй труп, на этот раз домашнего оленя, одного из лучших ездовых зверей экспедиции. Оба были задавлены волками.

Надеясь на то, что часть стада уцелела от волков, промышленники прошли еще около двадцати километров в поисках своих ездовых оленей и обнаружили протоптанную по снегу тропу. Тропа уходила на север. Сначала Кузнецов обрадовался, думая, что тропа эта протоптана оленями. Но при ближайшем рассмотрении это оказалось не так. На тропе лежал полуобглоданный труп вожака ездовой упряжки с ветвистыми рогами. Изучив следы, Кузнецов и Уксусников установили, что по этой тропе туда и обратно ходила волчья стая, восемнадцать матерых полярных волков. Вернувшись на ночь в балаган, они рассказали о несчастьи своим товарищам. Рано утром с катышками, начиненными стрихнином, Егор Иванович Кузнецов отправился на волчью тропу. Он шел мстить проклятым хищникам за гибель ездовых зверей. Начинив трупы павших оленей смертоносным ядом, Кузнецов провел здесь ночь, завернувшись с головой в сакуй. Наутро он нашел на тропе восемь волчьих трупов. Хищники были громадные, и животы их раздувались от жирного оленьего мяса.

Потеряв ездовых оленей, загнанных и задавленных волками, боцман Бегичев предложил своим товарищам итти дальше пешком. Путь был долгим и опасным — было мало шансов дойти до Анабуры пешком по глубокому снегу в пургу, метели и страшные морозы. От острова до реки Анабуры Бегичев насчитывал приблизительно двести тридцать километров. Горкин и Семенов, не надеясь на свои силы, решили остаться на зимовке в избе. Взяв на дорогу небольшой запас продовольствия и

Летчик Черевичный и дети охотников-ненцев в Дудинке.

погрузив куль пушнины на сани, Бегичев, Кузнецов и Уксусников отправились, впрягаясь поочередно в оленью упряжь и таща за собой сани. Они все были сильными, мужественными людьми, не боялись ничего на свете; они прошагали по белым пятнам необъятного Таймыра десять суток, делая небольшие стоянки для отдыха и сна, и достигли реки Анабуры, пройдя по шагомеру двести восемь километров пешком по льдам и снегам с груженой нартой.

Выменяв у купцов на песцовые шкуры достаточно муки, Бегичев отправил ее с якутом Уксусниковым на оленях к оставшимся на острове товарищам, а сам ушел в Дудинку. Кузнецов пошел по реке Дудыпте на станок Тунгусы осматривать унаследованные от отца пасти. В пути, зарывшись в снег, перенес двухнедельную пургу. В Тунгусах он условился встретиться с неутомимым боцманом, который улаживал в Дудинке дела маленькой и смелой экспедиции. Бегичев приехал на оленях, как всегда полный сил и энергии, и привез Кузнецову письма от родных. Семья настоятельно требовала приезда промышленника. Была уже весна.

Кузнецов уехал к семье в Дудинку, а Бегичев ушел летовать на свой остров.

Навестив товарищей, начальник экспедиции нашел их в полном порядке. Они жили неплохо, питались мясом диких оленей, заготовленных в прошлом году запасливым боцманом, имели муку и другое продовольствие, присланное с якутом Уксусниковым с Анабуры. Песца добыли много. Песец сам лез в ловушки, еле успевали поднимать давки.

Взяв образцы углей и других минералов, открытых на острове, боцман велел собираться в обратный путь. Но Горкин и Семенов опять отказались ехать — им так понравилось на острове, что они решили провести здесь еще одну зиму. Бегичев согласился на их оставление и перед отъездом долго инструктировал своих товарищей, наказав не лениться и обязательно заготовить с лета запасы топлива и дичи. На остров прилетели уже огромные стаи уток, гаги, серого и черного морского гуся. У птицы здесь было гнездовье, она линяла, не могла летать, и ее можно было ловить руками и бить палками. Топливом, помимо наносного леса — плавника, мог служить велико-

лепный уголь, целые хребты чистого угля, покрывавшие весь остров.

Прошла и эта зима, и, едва наступил апрель, боцман со своим другом — охотником Кузнецовым — опять отправился в тысячекилометровый путь через тундру на остров навестить зимовщиков Горкина и Семенова. Изба была подозрительно заметена снегом, вокруг нее не было человеческих следов, когда Бегичев достиг наконец зимовки. Раскопав вход, они вошли в избу, спотыкаясь в темноте о раскопанный почему-то пол. Тяжелый запах ударил им в нос. Продвигаясь в темноте с вытянутыми руками, Бегичев и Кузнецов нащупали одеяло, прикрывавшее труп Горкина. Кровать и все деревянные предметы, за исключением небольшого столика, были сожжены. На столике лежал дневник Горкина. На первой странице большими буквами было написано: «Семенов лежит на реке Песцовой в верховьи. Отметка: винтовка кверху ложем».

По записям в дневнике Бегичев и Кузнецов выявили все подробности трагедии, разыгравшейся на далеком полярном острове. Беспечно проведя лето, Семенов и Горкин не позаботились запасти топлива и еды на зиму, хотя и рыбы, и зверя, и птицы, и топлива было много в ста шагах от избы. Когда хватились—было уже поздно, навалил снег, наступила зима. Оставленная им собачья упряжка погибла по глупости и неопытности зимовщиков. Собаки, оставленные без присмотра, в охотничьем азарте погнались за стадом диких оленей и исчезли, погибнув, очевидно, от когтей волчьей стаи. Назад в избу вернулась только одна собака. Ее съел в самые последние дни своей жизни Горкин, сварив мясо с костями в чугуне. Истощенный, обессиленный, потеряв товарища, погибшего в снежную бурю на берегу реки Песцовой, он валялся в избе и жег, чтобы не замерзнуть, мебель. Он настолько ослаб, что, стреляя прямо из окна, не мог попасть ни в диких оленей, ни в медведя, неоднократно подходивших вплотную к избе. Зарыв труп Горкина в подвале дома, труп Семенова — в одном из балаганов, Бегичев и Кузнецов простились с островом.

Вспоминая эти дни, Егор Иванович Кузнецов стряхивает пепел с папиросы и, задумчиво проводя по усам, порыжевшим от извечных арктических холодов, продол-

жает разматывать передо мной клубок своей жизни, полной опасностей и приключений. В 1915 году, когда суда «Таймыр» и «Вайгач» зазимовали у берегов Таймырского полуострова, Бегичев взялся оказать помощь лейтенанту Вилькицкому с его бедствующим экипажем. Собственно, первую помощь Вилькицкому оказал известный скандинавский полярник Свердруп, зимовавший у мыса Вильде на своей шхуне «Эклипс». У Свердрупа было двадцать четыре собаки, и он, связавшись с Вилькицким, перевез часть команды с русских судов на свое, отправив Вилькицкому палатки и продовольствие.

Бегичеву предстояло забрать у Свердрупа русских моряков, часть которых болела, и вывезти их на материк сухим путем. Боцман вместе с промышленником Кузнецовым, политссыльным Ивановым и девятью туземцами отправился в Авамскую тундру к туземным племенам за оленями.

Объезжая чум за чумом и рассказывая у дымных костров о несчастьи, постигшем в море два судна, Бегичев и Кузнецов набрали восемьсот голов ездовых оленей, сколотив поезд в пятьдесят упряжек. На станке Летовье Авамской тундры транспорт был окончательно организован, и нарты и сани, груженные людьми, дровами и продовольствием, в начале мая двинулись на мыс Вильде, достигнув последнего 15 июня. Забрав здесь у Свердрупа группу в сорок человек из команды «Таймыра» и «Вайгача», Бегичев и Кузнецов доставили этих людей к реке Тарее, где ждали заранее приготовленные лодки, на которых по Тарее, а затем по Пясине и Гольчихе туземцы, входившие в состав спасательной экспедиции Бегичева, повели моряков дальше, на материк.

Бегичев и Кузнецов пошли обратно на мыс Вильде, прибыв сюда в конце июля. Но Свердрупа уже не оказалось, он ушел, оставив вырубленный из плавникового леса опознавательный знак — маяк. В записке сообщалось, что им оставлен здесь для Вилькицкого склад продовольствия, а сам он ушел на Диксон, где и просит его навестить. Бегичев и Кузнецов, прочтя это сообщение, отправились на бухту Воскресенье заготовлять оленьи нарты из плавникового леса и, вернувшись на мыс Вильде 6 августа, нашли в маяке Свердрупа новое письмо. Оно было от

лейтенанта Вилькицкого, который сообщал, что, освободившись от льдов, он идет на своих судах на остров Диксон, где и рассчитывает встретиться с Свердрупом. Так как «Таймыр» и «Вайгач» в дальнейшей помощи не нуждались, больные моряки, благодаря Бегичеву и Кузнецову, надежным путем отправились на лодках по рекам к материку, боцман со своим другом-промышленником сложили в табор в бухте Воскресения заготовленный для изделия нарт лес и ушли в глубь тундры поохотиться на белых медведей.

Убив вдвоем восемнадцать штук, они вернулись обратно на Тарею и пошли в Авамскую тундру на Ян-Году, где и сдали владельцам оленей, учинив расчет до одной копейки.

Шесть лет после этой экспедиции Егор Иванович Кузнецов занимался только промыслом, добывая песца. Но в 1921 году его сердце не выдержало такой «спокойной» жизни, пришел Бегичев и опять смутил его покой. Из Новосибирска пришло в Дудинку на имя Бегичева сообщение о том, что Амундсен потерял на Арктике двух членов своей научно-исследовательской экспедиции — Кнутсена и Тессена. Они ушли с зимующего судна, имея намерение пробиться сквозь льды Карского моря на Диксон, и бесследно исчезли. Высланная из Норвегии спасательная экспедиция на шхуне «Гейман» под начальством капитана Якобсона прошла в безрезультатных поисках за исчезнувшими норвежцами до Диксона, отсюда отправилась к мысу Вильде и встретилась здесь со льдами. На судне испортился мотор, и шхуна, с трудом возвратившись на Диксон, зазимовала.

Норвежское правительство обратилось тогда с просьбой о помощи Якобсону и о розысках Кнутсена и Тессена к советскому правительству. И краевые новосибирские власти, которые были осведомлены о подвигах боцмана Бегичева, переадресовали эту просьбу Бегичеву, сделав перевод необходимых средств. Но прибытие денег запоздало, нужно было спешить с выездом, и Бегичев с Кузнецовым собрали средства среди местных советских работников и выехали по проторенной дороге в необъятную Авамскую тундру к чумам своих друзей-туземцев.

Здесь они встретили горячую поддержку, получив без

единой копейки, на честное слово, огромный олений транспорт на шестьсот ездовых зверей. В экспедицию, в которой помимо Бегичева участвовали Кузнецов и Кандалов, влились лучшие оленьи ямщики тундры: Чута, ненец Авамского рода, Каньо, Дюряк, Лапсаре, Мунга, Китте, Бальо и Мунцану. В апреле вышли из Авамо-Хатангской тундры, продвигаясь на северо-восток и оставляя в пути на расстоянии семидесяти-восьмидесяти километров друг от друга топливные базы. У реки Пуры, впадающей в Пясину, транспорт был разбит на три части. Двести оленей, выделенных из стада в качестве резерва на обратный путь, Бегичев отправил пастись на Тарею; триста оставил на Пясине против реки Пуры; сам с оставшимися оленями легким аргишем на четырех пассажирских санках и шести грузовых, которые везли чум, палатку, лодку, продовольствие и керосин, пошел тундрой на Диксон. Пятьдесят запасных оленей бежало позади поезда, подгоняемые собакой.

Ударили сильные морозы, снежный наст тундры покрылся ледяным покровом, чрезвычайно затрудняющим движение оленей. Звери падали, выбиваясь из сил. С большим трудом Бегичев и Кузнецов добрались до острова Диксона, найдя здесь шхуну «Гейман». Захватив капитана Якобсона и норвежца Альфрида, экспедиция Бегичева пошла к своим стадам на Пясину. Пополнив на Пясине поезд новыми оленями, экспедиция пошла через Тарею, где приставшие звери были заменены из второго резерва свежими, на мыс Вильде. Было начало июля. Бегичев оставил в заливе Воскресения груженые нарты и налегке выехал в сопровождении Якобсона, Альфрида и Кузнецова на Вильде. Здесь обнаружили, что продовольственный склад, оставленный в 1915 году Свердрупом для полярных путешественников, разгромлен белыми медведями. Медведям нравился, очевидно, грохот, производимый жестяными бидонами, и они бросали их сверху на скалы до тех пор, пока не побили все до одного. Случайно сохранился лишь один тяжелый ящик весом в девяносто пудов, — в нем были консервы, сахар и масло. В маяке лежала консервная банка с запиской от бесследно пропавших Кнутсена и Тессена. Норвежцы на английском языке писали, что, передвигаясь на лыжах, они благополучно достигли мыса Вильде, пять дней отдыхали здесь

и, захватив из склада Свердрупа двадцатисуточный запас продовольствия, вышли в дальнейший путь на Диксон.

Переночевав на мысе Вильде, экспедиция Бегичева вернулась в бухту Воскресения к своему оленьему транспорту. По плану Бегичева было решено гнать оленей тундрой по побережью моря Лаптевых, а самим вчетвером, разбившись на две пары, двигаться пешком по берегу, обыскивая встречные бухты. В первую пару входили Бегичев и Якобсон, во вторую — Кузнецов и Альфрид. В дежурство первой пары, продвинувшейся в поисках пропавших спутников Амундсена к мысу Стерлинга, Бегичев натолкнулся неожиданно на пустые норвежские нарты. Придя на стойбище, где отдыхали олени, он предложил Кузнецову спуститься по тундровой речке на лодке-«веточке» к мысу Стерлинга и погрузить здесь обнаруженную нарту, которая была слишком тяжела для того, чтобы ее нести пешком. Кузнецов поплыл по реке, попал в узкое ущелье, где его встретил сильный штормовой ветер, оставил здесь лодку и пошел к нарте пешком, но не донес ее до лодки, из-за тяжести оставил, поставив задками на землю и обложив камнями.

Записка, обнаруженная на мысе Вильде, нарта, найденная у мыса Стерлинга, показывали, что поисковая партия Бегичева находится на верном пути. И, действительно, дойдя до бухты Воскресения, в южной ее части неутомимый боцман разыскал огнища — остатки двух костров в полутора-двух километрах один от другого. Неподалеку от одного из костров Бегичев нашел одиннадцать заряженных дробью картонных гильз от охотничьего ружья и немедленно возвратился на стойбище рассказать товарищам о находке. Тогда-то собственно и были обнаружены остатки второго костра, около которого валялось шесть штук простреленных винтовочных патронов с норвежским клеймом. Разрыв толстый слой пепла, Бегичев нащупал пальцами поясной нож, пуговицы, какие-то кнопки, крючки. Тщательный осмотр пепла с несомненностью показал, что на костре были сожжены человек и нарта. Были найдены остатки пенсне с одним целым стеклом, полуобгорелый воротник от тужурки, пережженные человеческие кости, гайки, обручки, железные подполоски от нарт, схожие с норвежской нартой, обнаруженной

ранее у мыса Стерлинга. Кто погиб здесь в огне — Тессен или Кнутсен, при каких обстоятельствах произошла таинственная кремация на Арктике — это оставалось тайной.

На Тарее со зверьми оставался Чута. К нему поехал от нас туземец Каньо. А остальные пошли берегом...

Каньо со свежими оленями вышел навстречу экспедиции Бегичева у мыса Михайлова. В первых числах сентября экспедиция дошла до устья Пясины. Двигаться к Диксону было бессмысленно, так как шхуна «Гейман» по условию должна была уйти при первом появлении льдов. Холодное море уже сковывалось льдами. Бегичев с товарищами повернул на Пуру, где его ждала подстава в сто оленей. Он был блестящий полярный стратег, знаток передвижений по Арктике и замечательно расставил своих оленей. Спустив в Пуру лодку, путешественники поплыли по реке, пользуясь тем, что она еще окончательно не замерзла. В пути заметили в тундре два чума, вышли на берег. Это оказались ненцы, выехавшие промышлять дикого оленя.

Получив у них ездовых оленей, Бегичев привез свою экспедицию к реке Агапе и, кочуя от чума к чуму, доехал 14 октября до Дудинки, откуда Якобсон и Альфрид сухим путем были отправлены через Красноярск в Норвегию.

Боцман не успокоился. В следующем году, выехав вместе с известным советским исследователем Урванцевым в экспедицию по описанию Пясины, он в двух километрах от Диксона, у самого пролива, обнаружил труп человека. Человек лежал на спине, с распростертыми руками, подогнув одну ногу, окаменевшую от мороза. В кармане его куртки был запечатанный пакет с дневником и документами. Этот человек был Тессен, сжегший труп своего погибшего товарища — норвежца Кнутсена — на костре в бухте Воскресения.

Через четыре года после находки Тессена трагически погиб и сам боцман Никифор Бегичев. По одной версии он заболел цынгой на зимовке в Пясине, куда отправился промышлять песца вместе с одним из своих многочисленных северных друзей — Василием Натальченко — и туземцем Манчо Хатангским. Здесь он умер от цынги. Дневник, который полярник-боцман вел на зимовке, об-

рывается на фразе: «Меня берет цынга...» По другой версии — его убили.

Двое суток я с грустью готовил в полет своих товарищей по путешествию, помогая им снаряжать вновь полученный самолет. Машина была слишком мала, не могло быть и речи о том, чтобы я мог уместиться вместе с Молоковым и Побежимовым в двух маленьких одноместных открытых кабинах. К тому же Москва обязала Молокова взять с собой радиостанцию и радиста и воткнуть их как-нибудь в самолет, чтобы иметь постоянную связь во время полета на Гыдо-Ямо, по трудности не уступавшему полету на остров Диксон. Молоков и Побежимов лихорадочно готовили машину к этому ответственному перелету на помощь заболевшим цынгой гыданским рыбакам-зимовщикам.

На третьи сутки моего пребывания в Дудинке на горизонте показался наконец самолет Ивана Ивановича Черевичного. Он летел в свой последний рейс — в Красноярске ледовый аэродром на Енисее уже подозрительно трещал, хотя и ничто еще в Дудинке не намекало на приближение весны. Я должен был ехать в Красноярск на борту «АНТ-6» Черевичного и, горячо простившись с товарищами по путешествию, пошел вместе с Топор-Ногой на аэродром. Топор-Нога возвращался домой в Игарку, к жене и дочке, которых не видел сто тридцать один день.

Мы погрузились в грузовой трюм двухмоторной машины, удобно примостившись на мешках с пушниной. Иван Иванович дал газ. Моторы взревели, как обиженные верблюды.

Подъезжая на сибирском экспрессе «Люкс» к Москве, я 2 апреля 1935 года купил на станции Буй газету, в которой была помещена короткая телеграмма с Севера:

«Летчик В. С. Молоков вчера прилетел на зимовку Гыдо-Ямо, совершив впервые в истории авиации зимний рейс над просторами неизведанной Гыданской тундры, и доставил больным зимовщикам триста килограммов медикаментов, мешок с картофелем и врача. За отсутствием места на самолете, врач ехал на коленях у бортмеханика и радиста. Молоков ждет погоды, чтобы вывезти одного

тяжело больного в Дудинку и отправиться оттуда еще в один полет на Диксон...»

Горячая волна подкатила к моему сердцу. Передо мной всплыл образ скромного героя-пилота, который с неизменной трубкой во рту сидит у промерзшего окна на зимовке Гыдо-Ямо, с добродушной и немного насмешливой улыбкой наблюдая, как беснуются за стенами силы арктической стихии, с которыми привык встречаться лицом к лицу этот скромный человек, настоящий сын своей великой родины.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Об отваге и молодости — В. С. Молоков 3

Глава I. Человек, спасший тридцать девять жизней, открывает зимний сезон полетов в страну белых медведей.— Визит матери к сыну.— Любовь шеф-повара Опарина.— Воздушный попутчик Иванов.— Происшествие над Уральским хребтом . 5

Глава II. Аэроклуб в сибирской тайге.— Город цепей и кандалов.— Красноярск — тыл Арктики.— Отряд профессора Косованова в поисках спрятанных сокровищ.— Итоги одной беспримерной экспедиции 21

Глава III. Как казаки завоевывали Туруханский край.— Курс на норд.— Село Подкаменная Тунгуска.— Семьсот ломов продолбили лед.— Прогноз бортмеханика Побежимова.— Куда отправились мужчины, надев меховые парки?— Медведь — гувернер маленьких медвежат.— Четвероногие обитатели приенисейских лесов.— Чемпион-охотник комсомолец Кузьмин ушел на три месяца в тайгу.— Соболь зазвенел колокольчиком . 33

Глава IV. Племя эвенков.— Современные робинзоны в необитаемых лесах.— Величайший каменноугольный бассейн мира.— Игарка — город Заполярья 54

Глава V. Таймыр—страна «белых пятен».— Великий Хатангский тракт.— В поисках морского хода в глубь полуострова.— Платиновые руды на 69,5° северной широты.— Нефть на Хатанге.— Самолет, вмерзший в залив.— Человек, проползший на коленях по льдам с лодкой на буксире.—Спасение «Дорнье-Валя» 62

Глава VI. В устье великого Енисея.— Рыбацкая флотилия Анциферова.— Старт на Диксон дан!— Самолет заблудился в тумане.— Таинственная хижина под снегом.— По волчьему следу.— Как радист Зибрев нашел в эфире над мысом Шайтанским друга.— Вход в Карское море закрыт штормовой метелью 81

Глава VII. Полярная зимовка Гольчиха.— Стены нашей спальни обвешаны сосульками.— Хватит ли бензина для полета на

Диксон?— Мы наблюдаем поразительные изменения арктической стихии.— Наш пилот глотает сырую рыбу.— Ветры уничтожили наш аэродром.— Самая северная газета в мире выходит ежедневно в тринадцать часов дня. 95

Глава VIII. Пришла пурга, хозяйка тундры! — Что такое минус 48 при ветре в десять баллов.— Я побежден в борьбе с полярной стихией.— Князь на мысе Лескина объявил комсомольцам войну.—«Дикие юраки» заводят новых друзей.— Мамонтово кладбище.— Есть погода!— Над льдами Енисейского залива и Карского моря.— Столица Арктики — остров Диксон 110

Глава IX. Топор-Нога, сын тундры.— Вожак собачьей упряжки вцепился в белого медведя.— Пятый пассажир на борту самолета.— Встреча над Бреховскими островами.— Где мы находимся?— Куяко Силкин чертит на снегу карту.— Удар слева на одиннадцатой секунде.— Радист Зибрев вылетел из разбитого самолета.— Воздушное путешествие прервано 126

Глава X. Совещание на снегу.— Речь Топор-Ноги.— Самолет пойман на лассо.— Олени примчались карьером.— «Будда» в зимнем наряде.— Красавица Амуня готовит чай.— В чуме загорелось электричество.—Ночь в тундре.— «Всем... Всем... Всем... Аварийная».— Волнение радиста Зибрева.—Молуко зовет свою команду 144

Глава XI. Прощание с самолетом.— Великий шаман, покровитель рода Силкиных.— Олений поезд в пути.— Молоков на буксире Топор-Ноги.— Закон тундры в действии.— Спасательная экспедиция на курьерских собаках.— Караул! Караул! . . . 162

Глава XII. Летчик Черевичный — на помощь летчику Молокову.— Прибытие нашего экипажа в столицу Таймыра—Дудинку.—Знакомство с знаменитым промышленником Егором Ивановичем Кузнецовым, участником многих спасательных экспедиций.— Рассказ о боцмане Бегичеве, открывшем остров в море Лаптевых.— Как были найдены трупы норвежцев Кнутсена и Тессена, затерявшихся во время экспедиции Амундсена.— Я расстаюсь с друзьями и возвращаюсь в Москву 174

Редактор Я. ИППОЛИТОВ
Технический редактор М. ЛОЙТЕРШТЕЙН
Корректор А. СТРЕПИХЕЕВА

Переплет худ. Г. ФИШЕРА

Сдано в производство 4|III 1936 г. Подписано к печати 29|VI 1936 г. МГ-201. Инд. Ю-2. Формат 82X110¹|₃₂. 12₁|₄ п. л. 9,78 уч. авт. л. Уполномоченный Главлита Б-24263. Зак. тип. 2136. Тираж 20 000 экз.

17 ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Шлюзовая наб., д. 10.

Цена 3 руб,
Переплет 1 руб.

Цена 4 руб.

М 105:46

БАН СССР
П.К.
I 240
инв. 467пк